

Евгений Дьяков

A surreal landscape illustration for a book cover. A large, detailed full moon hangs in a dark blue sky. Below it, a small lighthouse sits on a rocky island in the distance. In the foreground, a person stands on a narrow, shimmering path that stretches from the bottom center towards the horizon, appearing to walk across the dark, choppy sea. The foreground is filled with dark, jagged rocks.

ЛУННОЕ
ЭХО

18+

Евгений Дьяков

ЛУННОЕ ЭХО

<https://litres.ru/73813301>

SelfPub; 2026

Аннотация

Лунное эхо

Крайний Север. Посёлок у подножия маяка. Раз в девятнадцать лет луна застывает над скалами — и «открывает ухо».

Тогда всё несказанное обретает плоть. Вина. Страх. Невыплаканная любовь. Двойники стучат в окна. Фантомы молчат у постели. А смотрители маяка ведут хронику этих встреч — из поколения в поколение, из века в век.

Они знают: эхо приходит не за кровью. Оно приходит за правдой.

Восемь новелл, связанных одной землёй и одной хроникой. Восемь историй о молчании, которое тяжелее камня. О сестре, отравившей сестру. О брате, не удержавшем брата на льду. О комиссаре с расстрельным списком. О женщине, сжёгшей письма мужа. И о той, кому предстоит встретить эхо лицом к лицу.

"Лунное эхо" - роман о прощении. О том, что оно не приходит извне. Оно приходит изнутри. И только тогда, когда эхо прошлого наконец отзывается в нас самих.

Содержание

От автора	4
Пролог	6
II. Сказание о Лунном ухе	10
БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ	12
Глава I	12
Глава II	21
Глава III	32
Глава IV	40
Глава V	46
Глава VI	54
Глава VII	60
Глава VIII	67
ТОНКИЙ ЛЁД	72
Глава I	72
Глава II	77
Глава III	84
Глава IV	90
Глава V	97
Конец ознакомительного фрагмента.	100

ЛУННОЕ ЭХО

От автора

Эта книга родилась из тишины.

Из той особенной, северной тишины, которая не пуста, а наполнена — ветром, снегом, дыханием моря и голосами тех, кто когда-то здесь жил. Мне всегда казалось, что на Крайнем Севере время течёт иначе. Здесь прошлое не уходит бесследно — оно оседает в камнях, в дереве старых домов, в памяти людей. И иногда возвращается.

«Лунное эхо» — роман о возвращении. О том, как вина, любовь, страх, невысказанные слова обретают плоть и приходят к нам в ночь стоячей луны. О том, что простить себя труднее, чем простить других, и что только правда, даже самая горькая, способна разорвать этот круг.

Герои мои не выдуманы. Они списаны с реальных людей, рассказов и легенд этого загадочного и прекрасного края. В каждом из них есть частичка тех, кого я встречал на долгом пути: поморов, хранителей маяков, учителей, рыбаков. Людей, которые умеют молчать и слушать. Которые знают цену слову.

Этот роман писался долго. Он собирался по крупицам, как хроника, которую ведут поколения зрителей. И теперь, когда последняя страница дописана, я слышу то же, что

слышат мои герои: в морозной тишине залива бьётся чьё-то дыхание. Глубокое, ровное, успокоенное.

Может быть, это эхо отзвучало.

А может быть — только набирает силу.

Пролог

Из архивных материалов

I. Из отчёта экспедиции профессора В. С. Меркулова (1898 г.)

Архив Географического общества, фонд 113-б, дело «Полярные аномалии». Запись на бланке, чернила выцвели, бумага хрупкая, по краям — пятна, похожие на воск.

«...и потому мы сочли необходимым задержаться в селении Щелья до окончания явления, именуемого местными «стоячей луной» или «месяцем немоты». Климатические условия не объясняют того психофизического состояния, в которое погружается население. Речь не о меланхолии или зимней спячке духа, но о настоящей, зримой и осязаемой патологии места.

С 15 ноября по 3 декабря Луна, совершая свой путь по небосводу, висит над узкой долиной между скал неподвижно — сие противоречит всем известным законам небесной механики и, полагаю, является уникальным оптическим обманом, вызванным рефракцией в холодном воздухе. Однако аборигены настаивают на ином.

По их поверьям, в этот период Луна «открывает ухо». Всё,

что было выкрикнуто в гневе и тут же забыто, все невыплаканные слёзы, все тайные желания, коими человек опалил свою душу, но не дал им выхода, всё это не растворяется в эфире, но притягивается к лунному диску, как железные опилки к магниту. И в пик «стояния», примерно раз в 19 лет, она возвращает эти сгустки немой материи обратно, но в искаженном, одушевленном виде.

Сын старейшины, Пётр Игнатьевич Бесфамильных, нынешний смотритель маяка, показал мне семейную хронику, начатую его отцом Игнатием ещё в 1841 году. В ней, в частности, говорится:

«Явились двойники. Безмолвные. Ходили за живыми по пятам и повторяли движения. От них стыло сердце. Убили вдовицу Марину, что отравила сестру из зависти, подсунув ей в хлеб болиголов. Двойник Марины явился к ней с тем же хлебом и заставил ее съесть его до крошки».

Я, естественно, объяснил сие явление массовой истерией, отравлением спорыньей в ржаном хлебе и эффектом одинокого существования во тьме. Но в ночь на 28 ноября случилось происшествие с одним из моих проводников, Фаддеем. Мужчина крепкий, трезвый. Он признался, что девятнадцать лет назад в ссоре погнал брата на тонкий лед, и тот провалился. Никогда об этом не говорил, но вину носил в себе.

В ту ночь Фаддей закричал во сне. Я вбежал в горницу. Он стоял посередине комнаты, бледный как полотно, и смот-

рел в заледенелое окно. На стекле, с наружной стороны, был четкий отпечаток человеческой ладони, а за окном, в густом лунном свете, явилась фигура, в точности похожая на него самого, но одетая в лохмотья и мокрая до нитки. Фигура беззвучно стучала в стекло, и с каждым ударом Фаддей вздрагивал, будто его били.

Я схватил ружье и выстрелил. От выстрела стекло разлетелось, а фигура рассеялась, как дым. Наутро Фаддей был тих, разумен, но глаза его смотрели внутрь себя. Он сказал: «Я его простил. Себя простил. Ему теперь спокойно». И более не говорил ни слова о случившемся.

Это заставляет задуматься. Не о сверхъестественном, нет. Но о некоем неизученном свойстве человеческой психики в условиях экстремальной изоляции и определенного света. Возможно, лунный свет в этой долине содержит частоты, вызывающие сильнейшие галлюцинации, питающиеся материалом подсознания. Или же... мы столкнулись с формой природного явления, регистрирующего не звук, но саму эмоцию.

Рекомендую дальнейшее изучение феномена силами не только географов, но и специалистов по нервным болезням. Явление сие метко прозвано «лунное эхо». Эхо не звука, но поступка. И, как любое эхо, оно рано или поздно затихает. Но здесь, судя по всему, оно лишь набирает силу для следующего отзвука».

Проф. В. С. Меркулов.

5 декабря 1898 г.

с. Щелья.

II. Сказание о Лунном ухе

Из уст стариков, записано со слов поморской сказительницы А. Ф. Кочневой, 1923 год.

Архив Географического общества, фонд 113-б, дело «Полярные аномалии», дополнительная опись.

Это было не вчера и не год назад.

Это было тогда, когда луна ещё ходила по небу, как молодая девушка по берегу, легко, быстро, нигде не задерживаясь. А над нашей землёй она задержалась.

Господь ли её придержал, сам ли чёрт попутал, того никто не скажет. Только застыла луна меж двух скал, будто рыба в проруби, и свет от неё пошёл густой, белый, как молоко парное. И в этом свете люди увидели то, чего раньше не видели.

Двойников своих увидели.

Тех, кто ходил за ними по пятам, повторял движения, глядел пустыми глазами. Тех, кто вынимал из груди всё невысказанное и показывал назад.

Старики тогда собрались на совет. Самые старые, самые мудрые, те, кто ещё помнили времена, когда луна не застыла. Долго сидели, трубочный дым пускали, слова ворочали, как камни.

И вышел к ним один, по имени Игнатий.

— Не кара это, — сказал он. — Не порча. Это эхо.

— Какое эхо? — спросили старики. — Звука нет.

— Не звука, — ответил Игнатий. — Души. Крика, который не выкрикнули. Слезы, которую не выплакали. Любви, которую не долюбили.

Он поднял руку к луне.

— Она услышала нас. Все эти годы слушала. А теперь — отдаёт.

— И что делать? — спросили старики.

— Принимать, — сказал Игнатий. — Не прогонять. Не прятаться. Слушать, что оно говорит. И отвечать правдой.

— А если правда убьёт?

— Может и убьёт, — согласился Игнатий. — Но ложь убивает вернее.

Он сел за стол, раскрыл чистую книгу и вывел первую строку:

«В год 1841-й, в пору стоячей луны, явились двойники...»

Так началась хроника.

С тех пор каждый, кто брал в руки эту книгу, добавлял в неё свою строку. Свою правду. Своё прощание.

Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и нет ничего сокровенного, что не вышло бы на свет.

Особенно — когда луна открывает ухо.

БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ

Глава I

В те годы селение ещё не звали Ветреным Перешейком, именовали просто Щелья, по названию урочища. Стояло оно меж двух скалистых гряд, и зимою луна застревала в этом каменном коридоре намертво. Могла висеть неделями, белая, как рыбий глаз, и свет её, густой, молочный, лился на избы ровно, без дрожи, будто сквозь тонкий лёд. Дым из труб в такие ночи поднимался столбом и не расходился, и казалось, что весь посёлок стоит под стеклянным колпаком, а снаружи кто-то огромный и терпеливый приник лицом и смотрит.

Старухи говорили: в такие дни луна открывает ухо. Чего накричал, чего не доплакал, чего не вынул из себя, что затаил, всё воротит. Иные боялись, иные ждали. Молодые посмеивались, но в ночь перед полнолунием всё равно крестили окна и не глядели в воду. Бабка Аграфена в такую пору завешивала колодец рядом и поверх клала камень, а сама садилась на порог и всю ночь вполголоса шептала молитвы да перебирала чётки, будто отчитывалась перед кем-то за каждого, кто в её роду когда-либо сказал лишнее слово.

Мать родила их с разницей в два года, но вынянчила только одну. Анну.

Марина же помнила себя всегда с краю. Край лавки, край стола, край материнского взгляда. Мать не била её. Не за что было бить, та росла тихой, незаметной. Но никогда не погладила по голове, никогда не назвала ласково. Может, забыть не могла, что отец их сгинул в море как раз как родила она Марину, и невольно обвинила её во всех бедах.

С той поры и смотрела сквозь, будто та была стеклянной. Помнила Марина зиму, лютую, с ветром, который выл в трубе и заносил крыльцо снегом. Мороз стоял такой, что дышать было трудно. Выходя из дома, мать молча протянула Анне варежки, связанные из собачьей шерсти, тёплые, мягкие. Та взяла, натянула на руки, спрятала пальцы в шерстяное тепло. Марина стояла рядом. Она не просила. Знала, что просить бесполезно. Только руки в рукава спрятала, потому что пальцы уже начали неметь.

Анна сняла одну варежку и протянула сестре.

— Маменька, а Марине тоже холодно.

— Не балуй, — оборвала мать. — Она крепкая, выдюжит. А ты у меня тонкая, как былинка, того гляди поморозишься.

Как только мать отвернулась, Анна тайком сунула варежку Марине. Та взяла. Долго грела в ней замёрзшие пальцы.

А лет в семь Марина заболела. Лежала в горячке, бредила, звала мать. Мать пришла, постояла в дверях, посмотрела на

неё с высоты своего роста, как на что-то далёкое и неважное.

— Ничего, не помираешь. Аннушка вон тоже прихворнула.

И ушла. Марина запомнила не обиду. Она запомнила звук шагов, скрип половиц, который становился всё тише, а потом и вовсе стих. С тех пор она научилась болеть молча.

Анна, выздоровев, прибежала к ней. Принесла леденец, завернутый в тряпицу. Оглянулась на дверь, не видит ли мать, и сунула сестре.

— На вот, только маменьке не сказывай.

Марина взяла леденец, сунула в рот. Сладость показалась горькой.

К десяти годам Марина выучилась не ждать. К двенадцати не просить. К шестнадцати — смотреть на сестру с ровным, ледяным спокойствием, под которым копилось что-то твёрдое, круглое, тяжёлое.

Она не ненавидела Анну, нет. Ненависть — чувство горячее, живое. А у Марины внутри была пустота, в которой лишь иногда, как тлеющий уголёк, вспыхивала зависть. Зависть к тому, как легко Анна смеётся, как быстро находит общий язык с людьми, как смотрит на мир. Открыто, доверчиво, будто мир обещал ей только хорошее.

Но изредка, в минуты, когда Марина позволяла себе вспоминать, перед глазами вставало и другое. Анна тайком суёт ей за пазуху леденец. Или как заступалась за неё, когда Марина разбила крынку. Мать тогда замахнулась, а Анна встала

между ними и сказала:

— Я разбила, я и виновата.

Мать опустила руку. Посмотрела на обеих. И вышла.

Марина стояла, глядя на сестру. Анна улыбнулась ей виновато, будто просила прощения за то, что спасла.

— Ты чего? — спросила Марина.

— Ничего. Просто.

Она вправду была добрая. Но доброта эта только подчёркивала: Марина лишняя.

Едва Анне стукнуло восемнадцать, мать стала готовить её к смотринам. Шила платье, учила, как сидеть, куда глядеть, что говорить. Марина сидела тут же, на краю лавки, и смотрела. Ей никто ничего не говорил. Её вообще будто не было в этой горнице, хотя она была — вот она, руки на коленях, глаза в пол.

Иногда мать, заколов Анне подол, оборачивалась и говорила:

— Ты чего сидишь? Дела нет?

Матвей был крепкий, непьющий. Дом у него стоял на самом берегу, с новыми сенями и большим двором. Говорили, что он и хозяйственный, и работающий, и с руками, которые всё умеют. Мать просватала Анну без долгих раздумий.

Свадьбу играли в мясоед, как водится. Марина стояла в толпе гостей, у стены, в новом платье, перешитом матерью из своего старого. Платье было тесное, жаткое в плечах, и Марина чувствовала себя в нём чужой.

Анна сидела за столом на почётном месте. Платье ситцевое, голубое, в волосах ленты, щёки румяные. Она смеялась, и смех её звенел, как весенний ручей. Матвей не мог оторвать от неё влюблённого взгляда. Он держал её за руку, гладил пальцы, что-то шептал на ухо, и Анна краснела и опускала глаза.

Марина смотрела на них и думала: «Почему ей всё, а мне ничего?»

Она не завидовала дому, не завидовала хозяйству. Она завидовала тому, как Матвей смотрит на Анну. Так, будто она была светом в окне. Так, будто без неё он бы умер. Марина знала, что на неё никто и никогда так не посмотрит. И это знание было тяжелее, чем все вареники, все леденцы и все взгляды матери, вместе взятые.

Гости кричали «горько». Матвей целовал Анну, и все хлопали. Марина хлопала вместе со всеми. Ладони у неё были сухие и горячие, и хлопки эти отдавались тупой болью, где-то там, внутри, под самым сердцем.

Анна уехала с Матвеем в его дом на берегу.

И в доме стало тихо.

Марина ждала, что теперь что-то изменится. Что мать повернётся к ней, раз Анны нет. Что они сядут вдвоём за стол, и мать заговорит с ней, и, может быть, даже назовёт ласково, как называла Анну.

Мать не повернулась. Сидела у окна, глядела на залив и молчала. Или хлопотала по хозяйству, не замечая Марины.

Или замечала, но только для того, чтобы сказать: «Подай», «Принеси», «Чего стоишь».

За целый год мать не спросила её ни о чём. Ни разу не посмотрела прямо. Только сквозь, как всегда. И Марина теперь выучилась ещё одному: не надеяться.

Это оказалось легче, чем она думала.

А через год пришли сваты и к ней.

Марина не видела их. Сидела в закутке за перегородкой и слышала только голоса из горницы, приглушённые, деловые. Мать говорила ровно, спокойно, будто решала дело, которое давно решено.

Потом за перегородкой шаги.

— Выйди к гостям, — сказала мать от порога. — Покажись.

Марина не двинулась.

— Выходи, — повторила мать. — Нечего за печкой сидеть.

Марина вышла.

В горнице было накурено и жарко. За столом сидели двое мужиков постарше, в тёмных пиджаках. Третий — у окна, чуть в стороне от стола, не встал, когда она вошла. Сидел, положив руки на колени, ладонями вниз, и смотрел.

Трофим был широкий, тяжёлый, с короткой шеей, уходящей в плечи. Лицо обветренное, тёмное, будто его долго держали над дымом. Глаза светлые, а смотрели не в лицо. В руки. На её руки, сложенные у живота, на пальцы, которые она

не знала, куда деть.

— Ну, вот и невеста, — сказал один из мужиков.

Трофим не улыбнулся. Только чуть кивнул, будто отметил что-то про себя, и наконец поднял глаза. Посмотрел долго, без выражения, как смотрят на вещь, которую примеряют. подойдёт или нет.

Марина стояла.

Сначала было просто странно: вот они сидят, а она стоит, и все молчат, и слышно, как за окном кричит чайка. А потом она поймала, что его руки за всё это время ни разу не шевельнулись. Висели плетьюми, тяжёлые, с широкими ногтями, и не двигались. И от этого стало не по себе сильнее, чем от лица.

— Хороша, — сказал один из сватов. — Что ж, вот и сладили.

Мать что-то ответила, спокойно, деловито. Марина не слышала слов. Она смотрела на эти руки и думала: «Он меня уже взял».

Марина не помнила, как оказалась в сенях, как сошла с крыльца. Ноги сами несли её за угол, к заливу, подальше от окон. Там она встала у стены, прижалась спиной к доскам и стояла, глядя на серую воду.

Марина простояла так до темноты. Ветер охлаждал щёки, чайки кричали где-то далеко, и залив лежал перед ней серый и равнодушный, как всегда.

Домой она вернулась, когда стемнело.

Мать сидела в закутке, на лавке, сложив руки на коленях. Ждала. Не искала, не волновалась, просто сидела и ждала, когда Марина вернётся сама.

— Ну, вот и слава богу, — сказала она. — Просватали.

Марина стояла у окна. Смотрела на залив, на серую воду, на чаек, которые носились над пирсом.

— Кто он?

— Трофим. Из-за мыса. Мужик крепкий. Дом свой. Хозяйство. Вдовец.

— Вдовец?

— Жена померла. Три года как. Детей нет. Не перечь, Марина. Не век тебе в девках на моей шее сидеть.

Марина обернулась. Посмотрела на мать. И впервые за долгие годы увидела, что мать смотрит на неё прямо. Не сквозь. Прямо. Ждала ответа.

— Он пьёт, — сказала Марина. Тихо, без выражения.

Мать поджала губы.

— Все пьют. Ничего, привыкнешь.

— Он же бить будет.

— А ты не перечь. Бить и не станет.

Марина замолчала. Смотрела на мать и не узнавала её. Или, наоборот, узнавала впервые. Женщину, которая всю жизнь смотрела сквозь, а теперь смотрит прямо, потому что пришло время отдать.

— Маменька, — сказала Марина. — Я не хочу.

Мать встала. Подошла к ней. Марина почувствовала запах

её платья, сухой, старый, знакомый с детства.

— Я тоже не хотела, — сказала мать. И вышла.

Марина осталась стоять у окна. За окном был залив, серый, спокойный, равнодушный. Где-то далеко кричали чайки. Она смотрела на воду и думала о том, что теперь всё. Теперь её жизнь решена. И что камень, который копился в ней все эти годы, наконец обрёл вес. Она его чувствовала. Под рёбрами. Твёрдый. Круглый.

Глава II

Через две недели сыграли свадьбу. Марина не помнила ни венца, ни песен, ни того, как её поздравляли.

Помнила только, как Трофим пил на свадьбе. Сначала пил ровно, по-хозяйски, чокался с мужиками, посматривал на неё. Потом осоловел, покраснелся, начал говорить громче, чем надо, и смеяться не тогда, когда смеялись другие.

Марина сидела за столом, не пила, не ела. Платье было чужое, тесное, и в нём было жарко, и от этого жара её мучило. Кричали «горько». Трофим поворачивался к ней, тяжёлый, разгорячённый, и целовал — мокро, долго, а вокруг хлопали и смеялись. Марина подставляла губы и терпела. От него пахло водкой и солёной рыбой, и она думала о том, как это было у Анны.

У Анны всё было не так. Матвей целовал её осторожно, будто боялся помять, и Анна краснела и опускала глаза, и смех у неё был счастливый, не такой, как этот, не чужой. Марина тогда стояла у стены в тесном платье и думала: «Почему ей всё, а мне ничего?» Теперь она сидела на почётном месте, и ей кричали «горько», и она понимала, что «всё» — это не почётное место.

А потом кричали ещё, и ещё, и Трофим целовал её снова, и с каждым разом от него пахло сильнее, и руки у него становились смелее, и кто-то уже гоготал за столом, глядя на них.

Она сидела, улыбалась, потому что так надо, и ждала, когда это кончится.

Марину отвели в горницу. Кто-то из баб сунул ей в руки свечу и шепнул, что надо посидеть и подождать, а сама захихикала и вышла. Дверь закрылась.

Трофим вошёл, качаясь. Постоял на пороге, глядя на неё мутными, влажными глазами, потом шагнул — и сразу, без слова, без всего, схватил её за плечо и притянул к себе.

От него пахло водкой, потом и ещё чем-то тяжёлым, кислым. Марина отвернулась, но он повернул её лицом к себе, грубо, за подбородок, и стал целовать. Не так, как целуют, а как берут. Мокро, жадно, в губы, в щёку, в шею, и его щетина царапала кожу, и от этого было противно до тошноты.

Он расстёгивал на ней платье, путаясь в пуговицах, дыша ей в ухо. Руки у него были горячие, потные, и они хватали её где попало, мяли, сжимали, будто он ощупывал вещь, которую купил и теперь проверял, годится ли.

Марина стояла и не отвечала. Она не отталкивала его, потому что знала, что нельзя, и не обнимала, потому что не могла. Руки у неё висели вдоль тела, как чужие. Она смотрела в стену, на тёмную икону в углу, и считала про себя, чтобы не думать о том, что происходит.

Он повалил её на кровать. Кровать была высокая, перина мягкая, и Марина утонула в ней, беспомощно раскинув руки, а он навалился сверху, тяжёлый, как мешок с мукой, и дышал ей в лицо, и всё шарил, шарил руками, а потом начал

своё, и Марина зажмурилась и стиснула зубы.

Было больно и противно. Не так, как она думала, а хуже, потому что она не знала, что будет настолько противно. Она чувствовала на себе его тяжесть, его пот, его дыхание, и всё в ней сжималось и хотело одного — чтобы это кончилось. Она не плакала, не кричала, не просила. Она лежала, глядя в потолок, и считала удары своего сердца, чтобы не думать о том, что происходит.

Где-то далеко за стеной ещё гуляла свадьба. Кто-то пел, кто-то смеялся, и этот смех был такой чужой, будто он доносился из другой жизни.

Потом он уснул. Тяжело сопя, развалившись на кровати, заняв всё место. Марина лежала рядом, боясь пошевелиться, потому что не знала, что делать дальше. Руки и ноги у неё затекли. Внизу живота тянуло, и на бедре было липко и холодно.

Она пролежала так до утра, не смыкая глаз. В окно смотрела луна, белая, ровная, и в её свете всё было ненастоящим: и горница, и кровать, и человек рядом, и она сама.

А утром он проснулся, посмотрел на неё мутными глазами и сказал:

— Ну, хозяйка. Дай-ка мне щей, да пойдём к твоей матери кланяться.

Мать приняла их ровно, спокойно. Посидели за столом, поговорили о том, что море в этом году беспокойное, что рыба идёт плохо, что дров надо заготовить больше. Трофим был

вежлив, даже заботлив, подкладывал Марине хлеб, спрашивал, не холодно ли ей. Марина молчала и смотрела в тарелку. А когда выходили, мать задержала её на крыльце, взяла за руку и сказала тихо, чтобы Трофим не слышал:

— Ты не серчай на меня. Я не со зла. Я как лучше хотела.

Марина кивнула. Она не верила. Но и не спорила. Что толку спорить, если всё уже сказано и всё уже решено.

Он избил её в первую же неделю.

Вернулся пьяный с чьих-то именин, придрался к тому, что уха холодная. Марина молчала, она уже знала, что с пьяными лучше не спорить. Но молчание разозлило его ещё больше.

— Ты чего молчишь, как рыба? Слова от тебя не допросишься!

Кулак врезался в скулу. Марина отлетела к печи, ударилась спиной, но не вскрикнула. Только смотрела на него снизу вверх тем самым взглядом, каким мать смотрела сквозь неё, тем ровным, ледяным, отсутствующим взглядом, который достался ей по наследству вместе с холодными руками и привычкой молчать.

— Ещё раз так посмотришь — убью, — пообещал он и ушёл спать.

Марина сидела на полу до утра. Пол был холодный, печь уже прогорела, но она не вставала. Она трогала распухающую скулу, трогала спину, которая отзывалась тупой, тяжёлой болью, и думала: «Мать знала. Знала, что так будет. И отдала».

Она не плакала. Слезы кончились раньше, чем начались. Только что-то в груди сжималось тугим комком, тем, что появился в день свадьбы, и с каждой минутой становился плотнее.

Утром Трофим проснулся трезвый, увидел её лицо и завыл. Он сполз с лавки, упал на колени, пополз к ней, хватаясь за подол её платья. Он плакал, бил себя кулаком в грудь, клялся, что больше никогда, что он пропащий человек, что она его простить должна, потому что он без неё пропадёт, потому что он её любит больше жизни.

Марина смотрела на него и молчала. Она уже знала: это будет повторяться. Она видела это по тому, как быстро он забыл свой гнев, как быстро высохли его слёзы, как быстро он начал искать виноватого в ней же, только другими словами, с другими интонациями.

У Анны жизнь шла иначе, но не легче.

Она родила первого сына, Петра, через год после свадьбы. Второго, Егорку, через два. Третьего, Ванюшку, ещё через два. Всех родила легко, без мук, без болезней. Дети росли крепкие, шумные, похожие на отца: такие же широкие в плечах, такие же неторопливые, такие же надёжные. Матвей души в них не чаял. Возвращаясь с промысла, он первым делом обнимал жену, потом подхватывал на руки младшего, потом принимался возиться со старшими. В доме у них было тепло, сытно, спокойно. Марина иногда заходила к сестре, по делу, за солью или за рыбой, и оставалась на пороге, не вхо-

дя. Смотрела на эту жизнь, на эту простую, полную жизнь, и молчала.

Анна звала её к столу, угощала пирогами, расспрашивала: «Как живёшь, как здоровье, как Трофим, не обижает ли». Марина отвечала односложно и старалась скорее уйти. Она не могла оставаться в этом доме долго. Здесь было тепло, здесь пахло хлебом и молоком, здесь дети смеялись и не боялись подойти к матери. И в этом тепле Марина чувствовала свой камень особенно остро.

— Ты заходи, заходи, — говорила Анна вслед. — Не чужие ведь.

Чужие, думала Марина. Всегда были чужие.

Это случилось в конце сентября, когда младшему, Ванюшке, шёл четвёртый год. Матвей ушёл на промысел, как всегда, с артелью, на своём карбасе. Обещал вернуться через три недели.

Анна ждала его месяц. Каждый день ходила на пирс, стояла там до темноты, глядела на море. Мужики выходили на поиски, обшарили всё побережье, но не нашли ни карбаса, ни людей. А потом, уже в декабре, когда лёд начал сковывать залив, пришла весть с Груманта: там, на западном берегу, нашли разбитый карбас, с меткой, которую Матвей сам выжигал на носу много лет назад. Ни тел, ни вещей, ни снастей.

Только обломки.

Анна не верила. Она ходила к морю, стояла на берегу часами, ждала. Говорила, что Матвей вернётся, что он жив, что он где-то там, на льду, доберётся до людей, дойдёт. Ей не перечили. Каждый переживает своё горе по-своему, и не всякому можно помочь словом.

Но Матвей не вернулся. Ни через месяц, ни через полгода, ни через год. Так и остался где-то там, на льду, в море, между небом и водой. Могилы у него не было. Только обломки карбаса, которые Анна привезла домой и сложила в сарае, чтобы были.

Она изменилась после этого. Постарела за один год, осунулась, высохла. Глаза стали другими, будто внутри неё что-то погасло. Она всё так же работала, растила сыновей, вела хозяйство, но делала это как во сне, механически, без тепла. Сыновей любила, но как-то отчаянно, будто боялась, что и их у неё отнимут. Старший, Петро, в ту зиму из мальчика превратился в мужика: стал помогать по хозяйству, ходить на промысел с соседями, таскать сети. Средний, Егорка, затих, замкнулся, всё время что-то рисовал в тетрадках. Младший, Ванюшка, ещё не понимал, что случилось, и каждый вечер спрашивал: «Мам, а тятя когда придёт?» Анна гладила его по голове и молчала.

Марина видела всё это. Видела, как сестра тает, как гаснет, как старится на глазах. И ничего не делала. Не помогала, не поддерживала, не приходила лишний раз. Камень в её

груди не давал ей подойти ближе. Или что-то другое. Она сама не знала.

Годы текли, как вода сквозь пальцы. Марина не считала их. Она жила от пьянки до пьянки, от побоев до побоев, и научилась угадывать приближение бури за много часов. Трофим начинал пить по-разному: иногда с весёлым шумом, с песнями, с приглашёнными в дом собутыльниками, и тогда Марина успевала уйти в амбар; иногда тихо, зло, исподлобья, и тогда удар мог случиться в любую минуту, без повода, без предупреждения.

Она приноровилась. Знала, в какие дни лучше не попадаться ему на глаза, знала, какие слова его злят, какие успокаивают, знала, как выскользнуть из дома, когда воздух начинал звенеть перед грозой. Она уходила к соседям, уходила в поле, уходила на берег, где стояла, глядя на море, до тех пор, пока не понимала, что можно возвращаться. Море было единственным местом, где она чувствовала себя живой. Не потому, что оно любило её, а потому что ему было всё равно. Оно не смотрело мимо и не смотрело насквозь. Оно просто было, и это было легче, чем взгляд матери.

Детей Бог не давал. Вернее, давал, но забирал.

Первую девочку она родила на втором году замужества. Мёртвую. Роды были долгие, бабка-повитуха Манефа, та же, что когда-то принимала и её саму, и Анну, возилась всю ночь, шептала молитвы, прикладывала к животу тёплые мешочки с солью. Но когда дитя вышло, оно не дышало. Ма-

нефа взяла его на руки, посмотрела, завернула в тряпицу и сказала:

— Слабенькая очень. Недоношенная.

Марина лежала, глядела в потолок и молчала. Она даже не заплакала. Она смотрела на потолочные балки, на паутину в углу, на утренний свет, сочащийся сквозь маленькое окно, и думала о том, что в ней что-то умерло, и это что-то было не только ребёнком. Муж пришёл, посмотрел на мёртвый свёрток, перекрестился и ушёл в кабак. Вернулся через три дня, трезвый, злой, не сказал ни слова, лёг спать и утром ушёл в море.

Вторую она родила через год. Тоже мёртвую. На этот раз роды были быстрые, лёгкие, и Марина даже успела почувствовать, как дитя шевелится внутри, как стучит маленьким кулачком, как будто просится наружу. А потом всё стихло. Манефа опять возилась, опять шептала, опять качала головой. Марина на этот раз заплакала. Долго, тихо, беззвучно, уткнувшись лицом в подушку, чтобы никто не слышал. А потом встала, взяла тряпку, вымыла пол, поставила тесто на хлеб.

Третью она родила через два года. Девочка родилась живая, кричала, сучила ножками. Марина держала её на руках три дня, не спала, не ела, только смотрела и боялась отпустить. Она не отдавала её ни Манефе, ни Трофиму, ни соседкам. Она сидела с ней на кровати, прижавшись спиной к стене, и никого не подпускала. Трофим сначала смеялся, по-

том начал злиться, потом ушёл в кабак. Манефа качала головой и говорила: «Нельзя так, Маринушка, нельзя». Марина не слушала.

На четвёртый день девочка перестала дышать. Просто перестала, тихо, во сне. Марина держала её на руках ещё час, не веря, потом поняла и завывала. Впервые за все эти годы. Она выла глухо, страшно, как зверь в капкане. Манефа прибежала на вой, отняла у неё ребёнка, и Марина этого не забыла. Она не забыла холода в руках, когда девочку уносили, не забыла, как Манефа закрыла ей глаза, не забыла, как Трофим, вернувшись из кабака, сказал: «Ну, значит, не судьба».

Мать, пришедшая на похороны, крестилась над крошечным гробиком и говорила:

— Не угодно Господу. Видно, не твоё.

Марина стояла над могилкой и чувствовала, как внутри растёт что-то новое. Не горе. Не пустота. Камень. Тяжёлый, круглый, холодный, будто из глубины земли выкатился и лёг ей в грудь. Она тогда не знала, что будет носить этот камень всю жизнь. Не знала, что он будет расти с каждым годом, с каждым молчанием, с каждым взглядом матери мимо, с каждой улыбкой Анны, с каждым ударом Трофима. Она только чувствовала, как он наливается тяжестью, и это чувство было почти уютным, потому что тяжесть это всё-таки вес, это всё-таки присутствие, а не пустота.

Трофим умер в одну из зим.

Нашли его поутру в овраге, застывшего, с лицом, уткну-

тым в снег. Снег вокруг пожелтел, знать, отнялось всё сразу, как только упал. Он шёл из кабака, пьяный, ночной дорогой, оступился, и никто его не искал до утра. Марина стояла над ним и не чувствовала ничего. Ни горя, ни облегчения, ни страха, ни благодарности. Только камень в груди, твёрдый, круглый, привычный.

На похоронах бабы причитали, мужики стояли с постными лицами, кто-то говорил, что Трофим был хороший работник, что жалко, что помер с такой силой. Марина стояла у могилы и кивала. Она не сказала ни слова. А когда гроб опустили и начали засыпать, она вдруг поймала себя на мысли, что теперь одна. Одна, в пустой избе, с долгами да с камнем в груди.

Она вернулась домой, села на лавку и просидела до темноты. Ничего не делала, не плакала, не молилась. Потом затопила печь, сварила картошку и поела. Впервые за много лет ей не надо было никого ждать, никого бояться, никому угождать. И в этой свободе было что-то такое, от чего камень в груди шевельнулся, будто хотел выкатиться. Но не выкатился. Только стал ещё тяжелее.

Глава III

Мать слегла ещё зимой. Сначала кашель, потом жар, потом слабость, которая не проходила. В зиму она ещё вставала: топила печь, ходила к соседке за молоком, хотя каждый шаг давался ей труднее предыдущего. К весне совсем сдала, слегла и больше не поднялась.

Весна в тот год пришла поздно. Лёд на заливе держался до самого конца мая, потом разом почернел, вздулся и тронулся, и несколько дней по нему никто не ходил: в такие дни залив обманчив, сверху ещё бело, а снизу уже пусто. Но к началу июня лёд ушёл, вода открылась, и по берегу потянуло холодом с моря.

Марина знала, что мать плоха. Весь посёлок знал. Анна приходила к ней дважды, просила зайти, говорила, что мать совсем сдала, что надо бы повидаться, мало ли что. Марина кивала и не шла. Она говорила себе: некогда, хозяйство, дела, то да сё. Она не могла себя заставить. Всё её существо сопротивлялось этому порогу, этому дому, этой кровати, на которой лежала женщина, никогда не смотревшая на неё иначе как сквозь.

Анна не настаивала. Она приходила часто, садилась на лавку, пила чай, говорила о своём, о детях, о Матвее, о том, что море нынче беспокойное, и уходила. И Марина каждый раз после её ухода чувствовала одно и то же: облегчение от

того, что Анна ушла, и глухое, тянущее чувство вины, которое она тут же заталкивала поглубже, туда же, где лежал камень.

Так прошла весна.

А в первых числах июня Марина встала утром, посмотрела в окно на серое небо, на мокрую землю, на голые ещё ветки, и вдруг поняла: пора. Не потому, что кто-то позвал. Не потому, что совесть замучила. А просто поняла, что если не пойдёт сейчас, то не пойдёт никогда, и это будет длиться всю оставшуюся жизнь.

Она шла по улице, мимо изб, мимо поленниц, мимо ребятишек, копошившихся в грязи. Шла быстро, потом медленнее, потом снова быстро, и сама не понимала, что с ней происходит. Она не любила мать. Она давно уже ничего к ней не чувствовала. Но что-то гнало её по этой улице, что-то заставляло торопиться, будто она боялась опоздать к чему-то важному.

Она пришла в дом, где выросла, и не узнала его. Печь топилась, в комнате было тепло, но воздух стоял спёртый, тяжёлый, пахло лекарствами и ещё чем-то неуловимым, тем особенным запахом, который появляется в доме, когда из него уходит жизнь. Мать лежала на кровати, укрытая тяжёлым одеялом, и лицо у неё было жёлтое, иссохшее, чужое. Такого лица Марина не видела никогда.

Анна сидела на табурете у изголовья. Она похудела, осунулась, под глазами лежали тёмные тени, руки были крас-

ные, обветренные, в цыпках. Она, видно, давно уже не спала нормально, всё время была здесь, возле матери, и это было видно по всему: по её лицу, по её плечам, по тому, как она сидела, ссутулившись, будто несла на себе что-то тяжёлое.

Увидев Марину, Анна подняла на неё глаза. В них не было ни укора, ни радости. Только усталость. Такая же усталость, как у их матери когда-то. Анна кивнула, подвинулась, освобождая место.

Марина села. Она не взяла мать за руку. Она просто сидела и смотрела.

Дни тянулись медленно, как смола. Марина приходила каждое утро, садилась на табурет в углу и молчала. Мать не замечала её. Все слова, все просьбы, все надежды были обращены к Анне. «Аннушка, подай воды». «Аннушка, поправь подушку». «Аннушка, почитай псалтырь». Анна вставала, приносила, поправляла, читала. Марина сидела и смотрела. В груди у неё росло что-то тяжёлое, давящее. Не обида, обида была слишком мелким словом для того, что она чувствовала. Это была пустота, которая заполнялась чем-то чёрным, вязким, медленным.

Она помнила всё. Каждую мелочь. Как мать отдавала Анне лучший кусок. Как улыбалась только ей. Как смотрела сквозь Марину, будто та была пустым местом. Как велела руки в рукава прятать. Как сказала: «Она крепкая, выдюжит». Как ушла от её постели, когда она бредила в горячке. Как отдала её Трофиму, не спросив, не пожалев, не оглянувшись.

Все эти годы, все эти обиды, большие и малые, сплетались в один тугой клубок, и этот клубок теперь лежал у неё в груди, рядом с камнем, и камень от него становился ещё тяжелее.

Однажды она попыталась заговорить. Подошла к кровати, наклонилась:

— Маменька, может, воды?

Мать перевела на неё взгляд, мутный, равнодушный, и ничего не ответила. Отвернувшись к стене. Марина вернулась на табурет. Анна посмотрела на неё с жалостью, но ничего не сказала. Что тут скажешь?

В другой раз Марина попробовала иначе. Она дождалась, когда Анна вышла во двор, и под села ближе. Мать лежала с закрытыми глазами, дышала тяжело, с хрипом. Марина тронула её за плечо.

— Маменька.

Мать открыла глаза.

— Чего тебе?

Голос был сухой, без тепла, без интереса. Как будто она спрашивала у соседки, зачем та пришла.

— Я хотела спросить, — сказала Марина. — Я давно хотела спросить. Почему ты меня не любила?

Мать долго смотрела на неё. Потом отвернулась. И ничего не сказала.

Марина сидела и ждала. Минуту, две, пять. Мать молчала. И в этом молчании Марина впервые за долгие годы почувствовала не обиду, а усталость. Она устала ждать. Устала

надеяться. Устала носить в себе этот вопрос, на который никогда не будет ответа.

В последний день мать вдруг открыла глаза и посмотрела на дочерей. Долго смотрела, сначала на Анну, потом на Марину. Взгляд её был мутный, но в нём мелькнуло что-то похожее на сожаление. Или Марине показалось.

Марина замерла. Внутри всё сжалось. Сейчас, сейчас она скажет. Простое слово. Одно единственное слово. «Прости». Или «Марина». Просто имя. Просто назвать её по имени, как называла Анну.

Мать закрыла глаза. И больше в тот день на Марину не смотрела.

Марина просидела у постели до вечера. Анна вышла во двор — принести дров, вскипятить воду. В доме стало тихо, только дыхание матери, тяжёлое, с хрипом, да тиканье часов на стене.

К вечеру мать открыла глаза снова. Долго лежала, глядя в потолок, будто собиралась с силами. Потом подняла руку. Медленно, через силу. Протянула её в сторону Марины. Пальцы дрожали.

Марина подалась вперёд, взяла эту руку, холодную, сухую, лёгкую, как птичья лапка. Она держала её и смотрела матери в глаза, и ждала, ждала, ждала.

Мать открыла рот. Губы шевельнулись.

— Аннушка, — прошелестела она. — Поди сюда.

Анна подошла, наклонилась. Мать вынула из-под подуш-

ки семейную икону, старую, тёмную «Одигитрию», доставшуюся ещё от прабабки, и дрожащей рукой протянула её Анне.

— Береги, — прошелестела мать. — Ты старшая. Ты справишься.

Рука, которую держала Марина, разжалась. Пальцы выскользнули. Анна заплакала, прижала образок к груди. Мать закрыла глаза и через час отошла.

Марина сидела недвижимо. Она смотрела на сестру, на икону, на восковые пальцы покойницы. Всё это время, все эти дни, все эти часы, она ждала. Ждала, что мать повернётся к ней, скажет хоть слово. Хоть что-нибудь. «Прости». Или даже просто: «Марина». Просто имя.

Не сказала.

В этот миг что-то в ней умерло и родилось заново. То, что родилось, не имело имени. Пустота, холодная и бескрайняя, как зимнее море. И в этой пустоте лежал камень. Тяжёлый. Круглый. Привычный.

Она встала, подошла к столу, где лежала икона, и долго смотрела на тёмный лик. Богородица глядела строго, без утешения. Потом Марина перевела взгляд на Анну.

— Она тебе отдала, — сказала Марина. Голос её был ровным, чужим. — Ты справишься. А я, значит, нет.

Анна шагнула к ней, протянула руку. В глазах её стояли слёзы.

— Маринушка, что ты... Возьми, если хочешь. Я не держу.

— Не надо. — Марина отшатнулась. — Твоё значит твоё. Всегда было твоё.

Она повернулась и вышла, не оборачиваясь. Анна осталась стоять с иконой в руках, и слёзы текли по её щекам.

Дома Марина села на лавку и просидела до вечера, глядя в одну точку. В голове было пусто. Только одна мысль билась, как муха о стекло: «Никогда. Никогда. Никогда».

Ночью она не спала. Лежала, смотрела в потолок, и впервые за много лет позволила себе вспомнить не обиды, а Анну.

Как та сунула ей за пазуху леденец и оглянулась на дверь. Как вставала между ней и матерью, когда Марина разбила крынку. Как однажды зимой, когда Трофим особенно лютовал, пришла и забрала её к себе на неделю, и они сидели у печи втроём, она, Анна и Матвей, и молчали, и Марина впервые за много лет почувствовала, что значит, когда о тебе думают.

Как Анна растирала ей руки тёплой водой, когда мать сказала: «Оставь, она крепкая».

«Она не виновата, — подумала Марина. — Она просто... она просто любила. А я...»

Мысль оборвалась. В груди заныло, глухо, тяжело. Камень, который рос в ней все эти годы, вдруг стал нестерпимо острым.

К утру она приняла решение. Не обдумывала, не взвешивала. Просто встала и пошла за плетень, туда, где росла вы-

сокая, пятнистая трава.

Болиголов.

Глава IV

Болиголов она нашла за огородом, у покосившегося плетня. Знала, где растёт: мать когда-то гоняла их с Анной от этого места, грозилась выдрать крапивой. «Дурная трава, скот от неёдохнет». Тогда Марина не понимала, чем эта трава так страшна, и рвала её вместе с другими, а потом руки долго чесались и пахли чем-то мышиным, тяжёлым, и этот запах не сходил ни мылом, ни водой.

Она взяла с собой лопату, старую, с короткой ручкой. Земля была мокрая после недавних дождей, и корень вышел на удивление легко, толстый, белёсый, похожий на морковь, но с какими-то наростами, узлами, с противным, сладковатым запахом, от которого мутило.

Марина накопила целый узел. Руки дрожали, но не от страха, не от тяжести. От решимости. Она делала то, что решила, и всё внутри у неё было спокойно и ясно, как бывает только в самые страшные минуты, когда уже не о чем думать, когда всё продумано до конца и остаётся только делать.

Дома она перебрала корни, отобрала самые крупные, вымыла их в холодной воде, разложила на тряпице в чулане, чтобы сохли. Чулан был тёмный, пах сыростью и пылью, и в этом запахе корни болиголова лежали три дня, отдавая свою влагу воздуху, сжимаясь, сморщиваясь, становясь ещё более чужими и страшными.

На четвёртый день Марина взяла ступу, что стояла в углу ещё с материных времён, и начала толочь. Она толкла медленно, сосредоточенно, с тем же выражением лица, с каким когда-то штопала мужнины портки, с каким мыла полы, с каким ставила тесто на хлеб. Это была работа. Обычная, привычная, знакомая её рукам. И от этого становилось легче.

Пыль получилась сероватая, горькая, чуть сладковатая, с мышинным запахом, который она помнила с детства. Марина лизнула кончиком языка и долго не могла смыть горечь. Она осела на нёбе, въелась в слюну, и до самого вечера Марине казалось, что во рту у неё тлен, что язык у неё чужой, что сама она уже наполовину не здесь.

Она завернула порошок в тряпицу, спрятала под половицу, а сверху поставила сундук, чтобы никто не нашёл. Хотя кому искать? Она жила одна. Муж умер. Детей нет. Никто к ней не ходил, кроме Анны, а Анна заходила редко и никогда не рылась в её вещах. И всё равно Марина спрятала. Так было надёжнее.

В ночь перед тем, как печь хлеб, она сидела у окна, глядела на луну и думала.

Луна была большая, белая, ещё не стоячая, но уже какая-то неподвижная, будто наливалась тяжестью. Марина смотрела на неё и вспоминала Анну. «На, ешь, только маленьке не сказывай». Она вспоминала, как Анна приходила к ней, когда Трофим её бил, как приносила мазь на синяки, как говорила: «Потерпи, Маринушка, потерпи, может, обра-

зумится».

«Она добрая, — думала Марина. — Всегда была добрая. И мать её любила. И муж любит. И дети. А меня никто. Никогда».

Она встала, подошла к сундуку, отодвинула его, вынула тряпицу с порошком. Развернула. Поднесла к лицу. Пахло смертью. Сладкой, тихой, беззвучной смертью.

«А если я ошибаюсь? Если она не съест? Если кто другой съест?»

Она постояла, держа порошок в руке. Потом завернула обратно, положила под половицу, поставила сундук на место и легла спать.

Утром она затопила печь. Замесила тесто круто, положила болиголова щедро, пусть уж наверняка. Когда месила, думала о другом: о том, как хорошо будет, когда Анны не станет. Как она, Марина, наконец станет старшей. Как мать, если видит с небес, поймёт, что ошиблась. Как все вокруг посмотрят на неё другими глазами.

Но мысли эти были чужими, плоскими, не грели. Марина и сама в них не верила. Она знала, что мстить не за что. Знала, что, если Анна умрёт, ей не станет легче. Но остановиться уже не могла. Что-то внутри толкало её, вело, не давало свернуть.

Посадила в печь, села на лавку, сложила руки на коленях и стала ждать. В печи потрескивали дрова, пахло ржаным духом, и на мгновение Марине показалось, что она снова ма-

ленькая, что мать жива, что они с Анной сидят на полатах и ждут, когда поспеют первые пироги. Она даже почувствовала запах пирогов, тёплый, сладкий, с морошкой, которые мать пекла по праздникам, и вдруг поняла, что этот запах был в её жизни счастьем, единственным счастьем, которое она знала.

Она тряхнула головой, отгоняя наваждение.

Когда хлеб подрумянился, Марина вынула его, завернула в чистое полотенце и пошла к сестре.

Анна встретила её у порога, удивлённая, но радостная. Они редко виделись в последние годы, Марина всегда находила повод отказаться, а тут пришла сама. Анна всплеснула руками, обняла её, потянула в дом.

— Маринушка, какими судьбами? Проходи, проходи, я как раз чай поставила.

— Хлебца вот испекла, — сказала Марина. Голос не дрогнул. — Свежего, горячего. Погляжу я на тебя, совсем исхудала. Поешь, сил набирайся.

Анна взяла хлеб, отломил горбушку, зажмурилась от удовольствия. Вкусно. Как в детстве.

— Вкусно-то как, — выдохнула она. — Спасибо, сестрица.

Марина молчала, глядя, как двигаются Аннины губы, как ходит кадык на худой шее. Смотрела и не чувствовала ничего. Ни торжества, ни злобы, ни сожаления. Только тупую, ровную пустоту в груди, где совсем недавно ворочался ка-

мень.

Анна съела ломоть до последней крошки. Облизала пальцы, улыбнулась.

— Ты бы чайку попила со мной, Маринушка.

— Некогда, — ответила Марина. — Дома дел невпроворот.

Она ушла, не прощаясь. Анна стояла на пороге, глядела ей вслед, и на лице у неё было что-то такое, чему Марина не придавала значения тогда, но вспомнила потом. Озадаченность. Будто Анна почувствовала что-то, но не поняла что.

В ту ночь Марина не сомкнула глаз. Сидела у окна, смотрела на луну и слушала, как в груди у сестры, она знала, слышала сердцем, разгорается огонь. Болиголов жжёт изнутри медленно, без крика. Сначала немеют пальцы, потом поднимается сухота во рту, потом начинает кружиться голова, и человек засыпает, но уже не просыпается.

Она представила, как Анна мечется в постели, как хватается ртом воздух, как зовёт Матвея, а Матвея нет, только дети малые спят в соседней горнице. Или не спят, может, проснулись, смотрят на мать и не понимают, что происходит. Старший, Петро, он уже большой, двенадцать лет, он всё понимает. Он будет трясти мать за плечо, звать её, а она не отзовется.

Марина зажмурилась, прогоняя это видение.

— Не моё дело, — прошептала она. — Не моё.

К утру оделась и пошла к сестре.

Анна лежала на кровати, аккуратно сложив руки на груди. Лицо было спокойное, чуть удивлённое, будто она уснула и увидела сон, которого никак не ждала. На столе стояла кружка с молоком, лежала краюха хлеба, от которой Анна отломила всего один ломоть, остаток был прикрыт рушником.

В горнице, на полатах, сидели трое мальчишек. Старший, Петро, смотрел на Марину большими, сухими глазами. Средний уткнулся лицом в колени. Младший, лет пяти, спал, не проснулся, когда мать умирала.

Марина постояла над сестрой, потрогала холодный лоб.

— Вот и всё, — сказала она шёпотом. — Теперь я старшая.

И заплакала.

Глава V

Похоронили Анну на третий день, на старом кладбище у скал, рядом с матерью. Могилу копали долго, земля здесь была каменистая, сплошь щебень да корни, не всякая лопата возьмёт. Мужики ругались, но копали, потому что отказать не могли: Анна была своя, здешняя, а здешних провожают как положено. Марина стояла поодаль. Она надела тёмное, повязала голову чёрным платком, держала в руках свечу. Бабы подходили к ней, вздыхали, говорили: «Сиротки-то, сиротки, ох», и она кивала.

Мальчишки стояли у могилы втроем. Петро держал за руку младшего, Егорка держался в стороне, смотрел в землю. Они не плакали. Они, кажется, уже выплакали всё, что могли, за эти годы. Сначала отца, потом мать. Слишком много для детей.

После похорон Петро подошёл к Марине. Он был ей по грудь, худой, острый, с лицом, на котором не было ничего детского.

— Мы к бабке Марфе пойдём, — сказал он. — Она нас возьмёт. Она сказала.

Марина кивнула. Ей было всё равно. Или почти всё равно. Где-то внутри что-то кольнуло, но так слабо, так далеко, что она не стала обращать внимания.

— Ну и идите, — сказала она. — Дело ваше.

Петро посмотрел на неё долгим взглядом. Потом повернулся и пошёл, уводя за собой братьев.

Младших тоже разобрали родственники. Егорку забрала к себе тётка со стороны Матвея, жившая в Архангельске, обещала выучить его на художника, потому что мальчик всё время рисовал. Ванюшку взяла сестра Матвея, жившая на другом конце посёлка, у неё своих детей не было, и она обрадовалась мальчику, как родному. Петро остался у бабки Марфы, помогал ей по хозяйству, ходил на промысел с соседями. Бабка Марфа была старая, дальней родственницей, но своих детей у неё не было, и она взяла мальчишку к себе с тем же спокойствием, с каким принимают неизбежное.

Дом Анны остался пустой. По закону он переходил к Марине как к ближайшей родственнице по женской линии. Матвея не было, сыновья были малолетними, других наследников не оставалось. Сельский писарь объяснил это Марине коротко, сухо, казённым языком, и велел прийти через неделю за бумагами.

Марина не спешила туда переезжать. Она осталась жить в своей избе, на отшибе, где всё было пропитано Трофимом, его кулаками, его пьяными криками, его удушливым дыханием по ночам. Она думала, что не сможет там остаться, а оказалось, что не может уйти. Что-то держало её в этих стенах. Может, привычка. Может, то, что в этих стенах она хотя бы знала, где что лежит, где скрипит половица, где дует из щели.

Так прошёл месяц, потом два, потом полгода. Марина жила одна, работала по хозяйству, выходила в море, ставила сети, возвращалась с уловом. Соседи посмеивались, но не мешали. Рыбаки на пристани качали головами: «Маринка-то одна управляется, не хуже мужика». Она принимала это как должное. Море было единственным местом, где она чувствовала себя на своём месте.

А потом, ближе к весне, случилось то, чего она ждала и боялась одновременно. Она поняла, что не может больше оставаться в своей избе. Не может спать на той кровати, где спала с Трофимом. Не может смотреть на ту печь, у которой он её бил. Не может ходить по тем половицам, которые помнили его шаги.

И она перебралась в дом Анны.

Дом был пустой, холодный, запёртый с осени. Марина отворила дверь, вошла, постояла на пороге. Пахло пылью, застоявшимся воздухом, старыми вещами. Аннины вещи лежали нетронутыми: платки, сарафаны, детские рубашонки, в комоде, в сундуке, на гвоздях в сенях. Марина долго не решалась к ним притронуться. Ходила вокруг, смотрела, будто ждала, что вещи сами скажут ей, что делать.

А потом всё-таки открыла комод. И нашла там образок. «Одигитрия». Марина взяла её в руки, посмотрела на строгий лик, на потемневшую доску, и не почувствовала ничего. Ни благоговения, ни злобы, ни раскаяния. Просто вещь. Просто старая икона, которая почему-то досталась Анне, а

не ей.

Марина повесила её в красный угол, но молиться перед ней не могла. Слова застревали в горле. Она пробовала, шептала «Отче наш», но на середине сбивалась и замолкала. Богородица смотрела на неё строго, без утешения, и в этом взгляде Марине чудилось что-то похожее на взгляд матери. Такое же ровное, такое же чужое.

Первое время в доме Анны Марина не могла спать. Ложилась на её кровать, на её подушку, под её одеяло, и лежала с открытыми глазами до утра. Всё казалось, что вот-вот скрипнет половица, войдёт Анна, сядет на край кровати, спросит: «Ты чего не спишь, Маринушка?» И Марина не знала, что ответить. Она вообще не знала, как теперь жить.

По ночам ей снилась Анна. Не мёртвая, не страшная, живая, как прежде. Снилось, что они сидят на крыльце, грызут семечки и болтают о пустяках. Анна смеётся, запрокинув голову, как в детстве, и говорит: «Маринушка, а помнишь, как мы на полатях прятались от маменьки?» Марина во сне смеётся тоже, отвечает, что помнит, и ей легко, и тепло, и хорошо. А потом просыпается, и вспоминает, и камень становится тяжелее.

Она пробовала работать допоздна, чтобы заснуть без снов. Ходила в море одна, на карбасе, ставила сети там, где мужики боялись ставить из-за подводных камней. Возвращалась с полной лодкой трески, и рыбаки на пристани только головами качали. Дома валилась на кровать без сил, за-

сыпала мгновенно. И всё равно Анна приходила. Снилось, улыбалась, звала куда-то, и Марина шла за ней, а потом просыпалась и не могла понять, где явь, где сон.

Однажды зимой она заболела так, что не могла встать. Лежала три дня одна, в жару, без воды, и никто не пришёл, потому что некому было идти. На четвёртый день поднялась сама, налила себе воды из кадки, растопила печь и села у огня, глядя на свои руки.

Марина старела. Она скупела лицом, высохла, стала похожа на мать, только раньше поседела. В зеркало старалась не глядеть, но однажды, в сумерках, когда свет падал косо, поймала своё отражение и замерла. Те же скулы, тот же холодный взгляд, те же плотно сжатые губы. Только волосы седые, и морщины глубже, и в глазах что-то такое, чего у матери не было. Пустота. Бескрайняя, выстуженная пустота.

— Старуха, — сказала она своему отражению. — Старая, злая старуха.

Отражение молчало.

Она не считала годы. Они текли сами, как вода сквозь пальцы. Иногда, возвращаясь с промысла, Марина останавливалась на пригорке и смотрела на посёлок. Избы лепились к скалам, из труб вился дым, где-то лаяли собаки, дети бежали по берегу. Обычная жизнь, которую она давно перестала

замечать. Она стояла и смотрела, и в груди у неё было пусто, как в выстуженной избе.

С соседями она почти не общалась. К ней ходили только за солью да за рыбой, промышляла она не хуже мужиков, и даже самые опытные рыбаки признавали: «Маринка сеть поставит, рыба сама в руки просится». Но в гости никто не звал, да она и не напрашивалась.

Однажды, в метель, когда ветер выл так, что казалось, сама земля стонет, к Марине постучалась старуха Агафья. Принесла солёной рыбы, села на лавку, долго молчала, а потом сказала:

— Ты бы простила себя, Марина. Легче станет.

Марина посмотрела на неё так, что Агафья попятилась к двери.

— Мне прощать нечего, — сказала Марина. — Я никого не убила, не обездолила.

Агафья перекрестилась и ушла. Больше не приходила.

Агафья шла домой медленно, опираясь на клюку. Ноги вязли в снегу, ветер бросал в лицо колючую крупу, но она не замечала. Перед глазами всё ещё стояло лицо Марины: замкнутое, чужое, будто вырезанное из дерева.

«Никого не убила, не обездолила», — сказала она. Агафья вздохнула.

Дома было пусто. Она затопила печь, села на лавку, долго смотрела на огонь. Вспоминала мужа, Петра, как он уходил в море в последний раз, как махал рукой с пирса. И сыновей,

Ивана да Митяя, оба на дне залива.

По ночам, когда луна заглядывала в окно, они приходили, стояли в углу, смотрели молча. Не пугали, не звали. Просто были. Агафья привыкла.

— Прости, Господи, — прошептала она. — Не умею я, как Маринка. Не могу камня в себе носить.

Она перекрестилась и легла спать. И в эту ночь ей приснился муж. Он стоял на пирсе, улыбался и махал рукой. Агафья во сне заплакала, а проснувшись, почувствовала облегчение.

А Марина в ту ночь видела из окна, как Агафья идёт домой, сгорбившись под ветром, и думала: вот она умеет, а я нет. И ничего с этим не поделаешь.

В ту ночь Марина впервые сделала то, что потом будет делать много лет подряд. Села на лавку, сжала кулак и ударила себя в грудь. В то самое место, где лежал камень. Ударила сильно, до боли, до тёмных кругов в глазах. Ударила второй раз, третий. Ей казалось, что если бить достаточно долго, камень расколется, рассыплется, выйдет наружу, и ей станет легко. Но камень не раскалывался. Он только глубже вращался в мясо.

Стук отдавался в промёрзших брёвнах, и соседям, тем, что жили рядом, чудилось, что бьют по стене. Они крестились, но проверять не ходили. У каждого свои камни. У каждого своё эхо.

Так прошло много лет. Марина жила одна, работала, мол-

чала. Иногда к ней приходили сны, и в этих снах Анна смеялась и звала её куда-то, куда Марина не могла пойти. Иногда в груди шевелился камень, и тогда Марина садилась на лавку и била себя кулаком, пока не начинала болеть рука. А потом всё стихало, и она жила дальше, день за днём, год за годом.

Она видела иногда сыновей Анны. Петро вырос, стал рыбаком, женился, у него родились дети. Егорка уехал в Архангельск, выучился, стал художником, присылал иногда письма бабке Марфе. Ванюшка остался в посёлке, ходил в море, как отец. Они не заходили к Марине. Ни разу за все эти годы. Она не удивлялась. Она знала, что они её не любят. Может быть, догадываются о чём-то. Может быть, просто не хотят.

А потом луна остановилась над скалами, и старухи зашептались: «Открывает ухо, открывает».

Глава VI

Игнатий Бесфамильных, смотритель маяка, знал Марину давно, как и все в посёлке. Знал, что она вдова, что живёт одна в доме сестры, что промышляет в море не хуже мужиков. Знал и то, что бабы её сторонятся, а мужики поговаривают: «Тяжёлая баба, в себе тяжесть носит». Но впервые он увидел её по-настоящему в тот год, когда штормы были особенно лютыми.

Осень выдалась ветреная. Море ходило ходуном неделями, лодки срывало с приколов, сети рвало в клочья, и рыбаки возвращались с промысла злые, мокрые, пустые. Игнатий в ту пору был ещё молод, лет двадцати пяти, недавно принял маяк от отца, ходил по берегу, проверял, не выбросило ли где лодки, не порвало ли чьи сети. Так полагалось смотрителю: не только свет крутить, но и за порядком следить, и людей знать.

Он увидел её издали, на отмели у западного мыса.

Женщина стояла по колено в ледяной воде. Волны били ей в спину, но она не обращала на них внимания. Укладывала в карбас сеть, медленно, упрямо, будто спорила с морем. Карбас покачивался, привязанный к вбитому в дно колу, но она не смотрела на него. Только тянула, тянула, тянула.

Игнатий замер. Он много раз видел, как рыбачат мужики. Но женщина одна, в ледяной воде, в шторм, когда ни один

мужик в море не выйдет, такого он не видел никогда. И не просто женщина. Худая, жилистая, с лицом, которое не выражало ничего. Ни злости, ни усталости, ни радости от улова. Пустота. Ровная, спокойная, выстуженная пустота, как у человека, который давно уже ничего не ждёт.

Она ловко перекинула конец сети в карбас, поправила сбившийся платок, и уже собралась отчаливать, когда Игнатий окликнул её:

— Помочь?

Она обернулась. Взгляд её скользнул по нему равнодушно, будто он был камнем или кустом.

— Не надо, — сказала она коротко и оттолкнулась веслом.

Игнатий стоял на берегу, смотрел, как карбас уходит в море, и думал: что за тяжесть в её глазах? Что она такое носит, чего не видно?

Дома он рассказал жене. Жена выслушала, вздохнула, покачала головой.

— Маринка-вдова. Тяжёлая она. Говорят, у неё в избе по ночам стучат.

— Стучат?

— Ну да. Будто кто-то в стену бьёт. Соседи крестятся, а проверить боятся. Она ж никого не пускает. Живёт одна, как сыч.

Игнатий промолчал, но запомнил. Что-то в этой женщине было такое, что не давало ему покоя. Не красота, не сила, не жалость. Что-то другое. Будто она была не человеком, а

запертой дверью, за которой что-то спрятано. Он тогда не понял, что именно. Понял много позже.

А в ту осень он сделал первую запись о ней в хронике.

Хроника была толстая, в кожаном переплёте, начатая ещё его дедом Игнатием, когда явились первые двойники. Отец вёл её потом, аккуратно, каждую зиму записывал, что случилось, кого тронуло эхо, кто ушёл, кто остался. Теперь хроника перешла к Игнатию. Он не знал, что в неё писать. Он был молод, ему казалось, что всё это старушечьи сказки. Но отец перед смертью сказал ему: «Пиши всё, что видишь. Придёт время, поймёшь зачем». И Игнатий писал.

В тот вечер он вывел на чистой странице:

«Есть в посёлке вдовица Марина, Трофимова жена. Глаза как лёд, ни тепла, ни страха. Видел её сегодня на отмели, одна в шторм тянула сеть, будто смерти искала. Боюсь, к ней эхо придёт не с миром».

Он закрыл книгу, подул на чернила, убрал перо. И забыл об этой записи на много лет.

А потом пришёл тот год, когда луна снова начала висеть над скалами.

К тому времени прошло почти двадцать лет. Игнатий обзавёлся семьёй, постарел, оброс бородой, стал похож на своего отца. Маяк он вёл исправно, свет горел ровно, на двадцать пять миль в море. Про Марину он почти не думал. Слышал иногда, что она всё так же живёт одна, всё так же ходит в море, всё так же молчит. Кто-то говорил, что она сдала, поста-

рела, поседела. Кто-то говорил, что она стала ещё тяжелее, чем была. Но сам Игнатий её не видел. Не было повода.

А в конце осени луна начала меняться. Сначала незаметно. Выходила вроде бы как всегда, но стояла в небе дольше обычного. Потом начала задерживаться. Сначала на час, потом на два, потом на целую ночь. Старухи зашептались: «Открывает ухо, открывает». Мужики хмурились, крестились, но молчали. Молодые смеялись, но всё равно запирали ставни по ночам.

Игнатий понял: пришло время. То, о котором писалось в хронике. Он перечитал старые записи, отцовские и дедовские, и с каждым днём чувствовал, как в нём растёт тревога. Эхо придёт. К кому-то одному, к кому-то, кто носит в себе что-то, чего не может вынести. И он, смотритель, должен быть готов.

А потом наткнулся на свою собственную запись, сделанную много лет назад, ещё молодым, когда только принял маяк. «Глаза как лёд, ни тепла, ни страха... Боюсь, к ней эхо придёт не с миром». Чернила выцвели, бумага пожелтела по краям, а он всё сидел и смотрел на эти строки, и ему казалось, что он читает не своё, а чужое — то, что написал кто-то другой, знавший больше, чем он сам тогда.

За три дня до пика он пошёл к Марине.

Он долго стоял перед её домом, не решаясь постучать. Дом как дом, ничего особенного. Изба крепкая, но запущенная, с забитыми окнами по краям, с покосившимся крыль-

цом. Дым из трубы не шёл: либо печь не топлена, либо Марина ушла. Игнатий постоял ещё, потом всё-таки постучал.

Дверь открылась не сразу. Марина стояла на пороге, седая, высохшая, с лицом, которое он помнил молодым, а теперь едва узнавал. Она смотрела на него без удивления, без страха, без радости. Просто смотрела.

— Чего надо? — спросила она.

Игнатий долго молчал, мял в руках шапку. Потом сказал:

— Я смотритель маяка. Хронику веду. Про эхо это, про двойников. В вашей семье, говорят, горе было. Анна, сестра ваша, померла не своей смертью. Шепчутся люди.

Марина побелела. Это было единственное, что изменилось в её лице.

— Ты зачем пришёл?

— Предупредить. — Игнатий поднял на неё глаза. — Оно придёт. Не пугайтесь. Слушайте, что скажет. И отвечайте правдой. Только правда может разорвать круг.

Марина хотела захлопнуть дверь, но рука не слушалась.

— Откуда ты знаешь? — спросила она шёпотом.

— Знаю. — Игнатий перекрестил её. — Простите себя. Хоть сейчас. Простите, и оно уйдёт с миром.

Он повернулся и пошёл прочь. Слышал, как за спиной хлопнула дверь, как заскрипели половицы, как Марина осталась стоять одна в пустом доме. Он не обернулся. Не мог. Что-то в этом доме давило на него так, будто сама земля под ним была тяжелее, чем везде.

Дома он записал в хронику:

«1841 год, декабря 2 дня. Был у Марины-вдовицы. Предупредил. Видел её глаза: там не страх, там пустота. И камень. Не в руках, в груди. Такой камень я видел однажды у старика-помора, что век молчал о погибшем сыне и умер, никому ничего не сказав. Думаю, и Марина так же умрёт, если не скажет. Эхо придёт к ней. Она уже готова. Только не знает, к лучшему ли».

Через день луна остановилась над скалами.

Она висела, огромная, бледная, неестественно яркая, и не двигалась. Не всходила, не заходила, просто стояла на одном месте, будто приклеенная к небу. Свет её был густой, молочный, без единой дрожи, и в этом свете всё казалось другим. Тени становились плотнее, звуки глуше, а воздух таким тяжёлым, что дышать было трудно.

По посёлку поползли слухи. Кто-то видел тень у своего окна. Кто-то слышал шаги на крыльце. Кто-то проснулся ночью от того, что в комнате кто-то стоит и смотрит. Бабы крестились, мужики молчали, дети жались к матерям. А Марина сидела в своей избе одна и ждала.

Она знала: оно придёт. Не в первую ночь, не во вторую, а в третью или четвёртую, когда луна наберёт полную силу. Она ждала этого девятнадцать лет. Она не знала, чего ждёт, но знала, что ждёт. И теперь, когда время пришло, ей не было страшно. Была только пустота. И камень.

На третью ночь стоячей луны она не зажгла лучину.

Глава VII

На третью ночь стоячей луны Марина не зажгла лучину.

Она сидела в темноте у окна, смотрела на залитый лунной снег и слушала тишину. В этой тишине вызревало что-то большое, круглое, бесформенное. Оно дышало. Оно набухало, как тесто в квашне, как гной в незаживающей ране. Марина чувствовала его приближение каждой клеткой кожи. Волосы на затылке шевелились, хотя в избе было тепло, Марина натопила печь, как всегда.

Первый звук был похож на треск льда.

Потом на скрип половиц под осторожными шагами.

Потом на дыхание. Чужое, холодное, с присвистом.

Марина обернулась.

Из тёмного угла, где висела её ветхая шубейка, вытекало нечто. Оно не шло, оно сочилось, как вода сквозь пальцы, и по мере того, как приближалось, обретало форму. Сначала проступили ноги, босые, синеватые, с длинными, неестественно прямыми пальцами. Потом тело, тощее, в мокрой, облегающей холщовой рубахе. Потом руки, длинные, слишком длинные, свисающие почти до колен. В правой руке была зажата краюха хлеба.

И наконец голова.

Огромная, тяжёлая, будто налитая свинцом. Она росла на глазах, распираемая чем-то изнутри, и кожа на лице натяги-

валась так, что вот-вот лопнет. Черты проступали медленно, неохотно. Сначала подбородок, узкий, Маринин. Потом губы, тонкие, плотно сжатые. Потом нос, прямой, с горбинкой.

Потом глаза.

Марина смотрела в собственные глаза и не могла вздохнуть.

Двойник стоял в двух шагах, белый, как лунный камень, и смотрел на неё без злобы, без укора, без прощения. В его глазах не было ничего, только бесконечная, равнодушная пустота. Та, которую Марина носила в себе девятнадцать лет.

Но было одно, отчего сердце Марины замерло.

Из-под края рубахи двойника, на ноге, чуть выше щиколотки, виднелся старый шрам. Такой же был у Анны. В детстве она напоролась на косу в сених, мать тогда зашивала её сама, коровьей жилой.

Марина перевела взгляд на лицо. Оно было её. Но шрам был Аннин.

— Ты, — выдохнула она. — Ты не я. Ты она?

Двойник не ответил. Только протянул хлеб.

Марина узнала эту краюшку по тёмным крапинкам боли-голова, по неровному надрезу, по пригоревшему боку. Хлеб, испечённый много лет назад, лежал на ладони двойника, и это была её собственная рука, её лицо, её смерть, глядящая на неё со стороны. Хлеб был свежий, будто только из печи.

— Я не хотела, — прошептала Марина.

Двойник молчал.

— Я не хотела, — повторила она громче. — Она была лучше меня. Её любили. А меня никто. Никто!

Голос сорвался. В горле встал ком, давний, что не рассывался годами. Но вместе с комом пришло и другое. Воспоминания, которые она душила в себе всю жизнь.

— Она была добрая, — сказала Марина, и слёзы потекли по щекам. — Когда мать меня не замечала, она давала мне свои ленточки. В волосы вплетала. Говорила: «Ты красивая, Маринушка, ты просто не знаешь». А я завидовала. Я думала: она надо мной смеётся. А она не смеялась. Она любила.

Двойник чуть склонил голову, будто слушал.

— Я просто хотела, чтобы хоть раз я. Хоть что-то мне. Хоть кто-то — мой. — Марина закрыла лицо руками. — А когда мать икону ей отдала, я поняла, что никогда. Никогда не буду для неё дочерью. Никогда не буду сестрой.

Она подняла голову, посмотрела на двойника сквозь слёзы.

— Я не хотела убивать. Я просто хотела, чтобы её не было. Чтобы я осталась одна. Глупо, да? Думала, если её не станет, мать меня заметит. А мать умерла. И Анна умерла. И я осталась одна. И никому не стало легче.

Двойник шагнул ближе. От него пахло тиной, холодом и тем особенным, пряным запахом, который Марина помнила с детства, запахом Анниных волос, когда она сушила их у печи после бани.

— Ты прощена, — прошелестел голос.

Не Маринин. Аннин. Тот самый, мягкий, с лёгкой хрипотцой.

Марина подняла голову. Двойник улыбался. Не той пустой, зеркальной улыбкой, а тёплой, чуть виноватой, Анниной.

— Я всегда знала, что ты не хотела, — сказал двойник. — Ты просто устала. Я тоже уставала. От того, что мать любила меня, а я не могла сделать так, чтобы она и тебя полюбила. Я пробовала. Помнишь?

Марина вспомнила. Анна тайком приносила ей леденцы, заступалась перед матерью, делилась платками. Не для того, чтобы Марина была благодарна, просто потому что не могла иначе.

— Прости меня, — сказала Марина. — Я думала, ты надо мной смеёшься. А ты просто любила. Я не умела так. Я не умела любить. И не умею.

— Умеешь, — сказал двойник. — Иначе бы камень не мучил тебя столько лет. Камень это и есть любовь. Только перевернутая, вывернутая наизнанку. Та, которой не дали выхода.

Он протянул хлеб.

— Возьми, сестра. И доешь. Нам обоим пора на волю.

Марина протянула руку и взяла хлеб.

Пальцы сомкнулись на тёплой, податливой краюшке, пахнущей ржаной мукой, тмином, печной золой. Марина поднесла его к лицу, вдохнула запах и вдруг вспомнила: так пах-

ло в доме матери по субботам, когда она пекла караваи на всю неделю. Анна всегда получала первый, самый румяный ломоть. Марина второй, с подгоревшим боком.

И в этом запахе вдруг смешалось всё: и давняя обида, и вина, и странное, почти забытое чувство, что сестра всё-таки была единственным близким человеком.

Марина поняла: если не съест этот хлеб до конца, камень в груди так и останется лежать.

Она отломил кусок и положила в рот.

Она жевала медленно, тщательно, как учила мать: не кроши, не спеши, Господь каждую крошку сочтёт. Хлеб был суховат, с горьковатым привкусом болиголова, но Марина почти не чувствовала вкуса. Она смотрела на двойника и видела, как с каждым её глотком черты его лица становятся мягче.

Огромная голова съёживалась, опадала, возвращаясь к нормальным размерам. Плечи опускались. Руки, прежде висевшие плетями, медленно сгибались в локтях. Двойник больше не стоял столбом, он покачивался, будто от усталости, будто долго нёс непосильную ношу, и вот, наконец, смог её сбросить.

Марина доела хлеб до последней крошки, облизала пальцы.

— Ну, — сказала она. — Всё.

Двойник качнулся вперёд, и Марина вдруг почувствовала на своей щеке прикосновение, холодное, бестелесное, но от-

чётливое, как поцелуй.

— Прощай, сестра, — прошелестел голос. Аннин. Настоящий.

— Подожди, — Марина схватила её за руку, или попыталась схватить, пальцы прошли сквозь серебристый туман. — Я не всё сказала.

— Всё, — ответил голос. — Главное сказала. А остальное не важно.

— Я любила тебя, — выдохнула Марина. — Я всегда любила. Просто не умела показать.

— Я знаю, — улыбнулся двойник. — Я всегда знала.

Серебристое свечение внутри него погасло. Тонкая, как паутина, оболочка опала на пол, рассыпалась серой пылью, и только лёгкое облачко ещё несколько мгновений висело в воздухе, прежде чем раствориться в лунном свете.

Марина сидела неподвижно.

Камень в груди, круглый, обкатанный, вдруг дрогнул, треснул и рассыпался в прах. Вместо него осталась пустота. Но пустота эта была другой. Не ледяной, не высасывающей, а тихой, тёплой, почти уютной.

Марина опустила голову на руки и уснула.

Утром соседка, зашедшая за каким-то заделем, нашла её на лавке.

Марина сидела, прислонившись спиной к стене, лицом к окну. Глаза её были закрыты, руки сложены на коленях. На губах застыла лёгкая, почти детская улыбка.

Соседка перекрестилась, вышла и заперла дверь.

— Преставилась, — сказала она собравшимся у крыльца жёнкам. — Глядите, лицо-то какое светлое. Будто грехи с неё сняли.

Глава VIII

Игнатий пришёл, когда уже стемнело. Он знал, что Марина умерла, ему сказали ещё днём, но он не пошёл сразу. Сначала дождался вечера, чтобы не толкаться среди баб, не слушать причитаний, не отвечать на вопросы. Он хотел увидеть её один.

В избе было холодно. Печь давно прогорела, и никто не затопил. Марина лежала на лавке у стены, и в сумерках её лицо казалось моложе, чем при жизни. Морщины разгладились, губы чуть улыбались, и вся она была похожа не на старуху, какой её помнили последние годы, а на ту молодую женщину, которую он увидел когда-то на отмели, в ледяной воде, с сетью в руках.

Игнатий долго стоял над ней, смотрел. Потом перевёл взгляд на стол. На столе лежала горка хлебных крошек. Он подошёл ближе, наклонился, втянул воздух. Пахло хлебом. Ржаным, тёплым, и ещё чем-то едва уловимым, горько-сладким. Болиголов.

Он выпрямился. Постоял ещё. Потом сел на табурет, не раздеваясь, и просидел так до полуночи. О чём думал, не скажет бы никому. Может, о том, как она тянула сеть в шторм. Может, о том, что она ни разу не пришла к нему, ни разу не попросила помощи. Может, о том, что он сам мог бы прийти раньше, не за три дня до пика, а годы назад. Не пришёл.

В полночь он встал, вышел на улицу, дошёл до своего дома, поднялся в башню маяка. Там, в маленькой комнатке, где он вёл дела и записи, он достал с полки тяжёлую книгу в кожаном переплёте. Хронику. Положил её на стол, зажёл лампу, сел. Долго сидел, не открывая. Потом открыл, нашёл последнюю страницу, взял перо, обмакнул в чернильницу.

И начал писать.

«1841 год, декабря 5 дня. Марина-вдовица умерла сегодня ночью, одна, в доме сестры своей Анны. Лежала на лавке, с улыбкой. На столе нашли хлебные крошки, а по запаху и по всему прочему понял я, что был то хлеб с болиголовом. Тем самым, которым она когда-то сестру свою извела.

Значит, приходил к ней двойник. Не мстил, не пугал, а протянул ей тот же хлеб и велел доесть. И она доела. До последней крошки. И умерла с улыбкой, будто не казнь приняла, а прощение.

Долго я думал над этим, стоя над ней, и вот что понял. Не кара это была. Не наказание. Милость. Она сама себя судила девятнадцать лет, и суд её был страшнее любого мирского. А когда пришло эхо, оно не стало ей мстить, оно дало ей выговорить то, что она молчала всю жизнь. И приняло её.

Да будет записано: кто носит камень в груди, тот сам себе и судья, и палач. А эхо приходит не за кровью, а за правдой. Приходит за тем, что человек схоронил в себе и не дал выхода. И уходит, когда правда сказана.

Марина сказала. Простила сестру. Простила себя. И ушла.

Светлая ей память».

Игнатий отложил перо, подул на страницу, чтобы чернила подсохли. Закрыв книгу. Сидел ещё немного, глядя на огонь в лампе, потом встал, погасил лампу и спустился вниз.

Дома его ждал сын. Мальчику было восемь лет, он не спал, сидел на лавке у печи, кутаясь в отцовский тулуп. Увидев отца, поднял голову.

— Батюшка, ты куда ходил?

— К покойнице, — ответил Игнатий. — К Марине-вдове.

— Она умерла?

— Умерла.

Мальчик помолчал, потом спросил:

— Отчего?

Игнатий не сразу нашёлся что ответить. Он снял шапку, повесил её на гвоздь, прошёл к печи, сел рядом с сыном.

— От того же, от чего все умирают, — сказал он. — От того, что носили в себе. Только она своё донесла до конца.

— Я не понимаю, — сказал мальчик.

— И не надо, — ответил Игнатий. — Пока не надо. Вырастешь, поймёшь.

Он помолчал. Потом добавил:

— Ты вот что запомни, Петруша. Когда человек что-то в себе держит, оно тяжелее камня становится. Если не выговорить, не выпустить, оно раздавит. Ты вырастешь, у тебя тоже будет что держать. Так ты не молчи. Не терпи. Говори. Хоть

мне, хоть кому. Понял?

Мальчик кивнул, хотя вряд ли понял. Ему было восемь лет, он думал о другом, о завтрашнем дне, о рыбалке, о том, пойдут ли они с отцом на лёд. Но кивнул, потому что так было надо, потому что отец был серьёзен.

Игнатий обнял его за плечо, прижал к себе.

— Ну, иди спать, — сказал он. — Утро вечера мудренее.

Мальчик ушёл. Игнатий остался сидеть у печи один. Он думал о Марине, о её сестре, об их матери, о той иконе, что висела теперь в красном углу её дома и никому не досталась. Думал о том, что зло не рождается само по себе, что оно растёт из равнодушия, из молчания, из взгляда сквозь. И о том, что однажды это зло возвращается, но возвращается не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы освободить.

Он встал, подошёл к окну, взглянул на луну. Она всё ещё висела над скалами, но уже не так высоко, чуть сдвинулась с зенита. Пик прошёл. Эхо отзвучало. На девятнадцать лет.

— Ну вот и всё, — сказал Игнатий тихо. — Спи спокойно, Марина.

Он отвернулся, погасил лампу и пошёл спать.

Из хроники смотрителя маяка Игнатия Бесфамильных:

«1841 год. Записано. Луна стояла двенадцать дней. Двойников видели ещё у троих, но те откупились молитвой и покаянием. Марина же не каялась. Она приняла. И умерла. Светлая ей память.»

Теперь знаю: эхо приходит не за телом. Оно приходит за правдой. И уходит, когда правда сказана.

Жди через девятнадцать зим».

ТОНКИЙ ЛЁД

Глава I

Фаддей родился в шторм.

Ночь, когда мать начала кричать, запомнилась посёлку надолго. Ветер рвал рыбацкие сети, лодки срывало с приколов, и море било о скалы так, что, казалось, сама земля дрожит. Отец был в море, ушёл накануне, не ждал шторма, и теперь его карбас швыряло где-то между волн, как щепку. Соседи потом говорили, что в ту ночь никто не спал. Все сидели по избам, слушали, как стонет за окнами, и ждали, чем кончится.

Мать кричала трое суток.

Повитуха, старая Манефа, та же, что принимала всех в посёлке, уже крестила младенца «на отход души», когда тот вдруг задышал сам. Ровно, сильно, будто назло всем. Манефа взяла его на руки, посмотрела на крошечное, сморщенное лицо, на сжатые кулачки, и сказала:

— Живучий. Этот не сдастся.

Она завернула мальчика в тряпье, положила к матери на грудь. Мать долго смотрела на него, не отводя глаз, будто запоминала. Потом закрыла глаза и уснула. Спала двое суток. А когда проснулась, первым делом потянулась к ребёнку.

ку, взяла его на руки и прижала к себе так крепко, что Манефа едва разжала её пальцы.

Отец вернулся на четвёртый день. Лодку чудом выбросило на отмель, сам он отлежался, отогрелся, но с того шторма начал кашлять. Вошёл в избу, глянул на сына, на жену, бледную, с прозрачными руками, и молча перекрестился.

Мать после родов так и не оправилась. Ходила по избе, будто тень, всё гладила сына по голове и смотрела на него так, словно прощалась. Она умерла, когда Фаддею было три, и в памяти его остались только глаза, большие, светлые, с поволокой, и руки, тонкие, холодные, даже когда она прижимала его к груди.

Через год отец женился снова. Тихая, работающая Акси́нья, казалось, всем старалась показать, что и мачеха может стать родной матерью. А когда Фаддею шёл пятый год, родился Степан. Но видать, судьба обошла счастьем этот дом. Не прошло и года, как убралась и Акси́нья.

Фаддей многого тогда ещё не понимал. Он только знал, что у него теперь есть брат, маленький, крикливый, с такими же светлыми глазами, как у родной матери, которых он не помнил, но которые ему почему-то снились.

Отец растил их сурово, без скидок на возраст. Показывал, как ставить сети, как смолить лодку, как править в шторм. Фаддей схватывал тяжело, но упорно, мог повторять одно и то же сотню раз, пока не получалось. Степан учился легко, быстро, но отец хмурился:

— Легко пришло, легко ушло. Ты, Степан, на усердие надейся, а не на удачу.

Степан обижался. Фаддей не понимал, за что. Отец же правду говорит.

В пять лет Фаддей уже таскал воду из проруби. Маленьким ведёрком, спотыкаясь, обливаясь, но таскал. В семь отец взял его в море впервые. В десять он уже сам мог поставить сеть и выбрать улов.

Степан рос другим. Он мог часами сидеть на берегу, глядя на море, и насвистывать дурную, бесконечную мелодию. Фаддей злился на этот свист, но молчал. Однажды, когда Фаддею было двенадцать, а Степану восемь, они забрались на скалы за чайчьи яйца. Степан поскользнулся, сорвался, повис на руках над обрывом. Фаддей, не думая, бросился к нему, ухватил за шиворот, вытянул наверх.

Оба лежали на траве, тяжело дыша. Степан заплакал. Фаддей подождал, пока брат отдышится, потом молча двинул его в ухо. Сильно.

— Больше не смей туда лезть, — сказал он. — Убью.

Отец, узнав о случившемся, не стал их наказывать. Только посмотрел на Фаддея долгим, тяжёлым взглядом и сказал:

— Молодец, что вытащил. Но бить зачем?

Фаддей не ответил. Он и сам не знал.

Еда в доме была всегда вровень. Отец не баловал, но и не морил голодом. Однако Фаддей, глядя, как Степан уплетает уху, частенько подсовывал ему свой хлеб.

— Ешь, — говорил он. — Ты тощий.

Степан не замечал, ел жадно. А Фаддей смотрел на него и чувствовал что-то похожее на гордость. И на голод. Но голод был привычным.

Отец иногда замечал это, но молчал. Только однажды, когда Фаддей отдал брату последний ломоть хлеба, сказал:

— Нельзя себя не жалеть. Себя не пожалеешь, и другим не поможешь.

Фаддей не понял тогда этих слов. Понял много позже, когда жалеть уже было некого.

Зимой, в лютые морозы, отец отправлял их на улицу, закаляться. Стоять на морозе без варежек, пока пальцы не перестанут чувствовать холод, потом растирать снегом, пока не загорятся.

— Мужик должен терпеть, — говорил отец. — Море не прощает слабых.

Фаддей терпел. Стоял час, два, пока зубы не начинали выбивать дробь. Степан норовил улизнуть пораныше, забиться в тепло, но Фаддей ловил его за шиворот и возвращал.

— Стой, — говорил он. — Отец велел.

Степан злился, но стоял. А когда возвращались в избу и растирали друг другу спины, Фаддей вдруг замечал, что брат улыбается.

— Чего лыбишься? — спрашивал он.

— Хорошо, — отвечал Степан. — Вместе же.

И Фаддей, сам не зная почему, улыбался в ответ.

Вечерами, когда отец уходил к соседям, Степан доставал книги. Привозил их из Архангельска, куда ездил с рыбаками, читал вслух при свете лучины. Читал он хорошо, с выражением, и Фаддей слушал, хоть и не понимал половины.

— Ты слушаешь? — спрашивал Степан.

— Слушаю, — отвечал Фаддей.

— Там про другую жизнь, — говорил Степан. — Про города, про моря, про людей, которые не рыбу ловят, а книги пишут.

— А чем рыба плоха? — пожимал плечами Фаддей.

— Ничем. Но хочется же другого.

Фаддей молчал. Он не знал, чего ему хочется. У него было море, был брат, был отец. Этого, казалось, достаточно.

Когда отец умер, Фаддею шёл двадцать пятый год, Степану двадцать первый.

Старик слег в одночасье, простудился в море, провалялся неделю и отдал концы. Перед смертью призвал старшего сына к постели, долго смотрел на него запавшими, выцветшими глазами и сказал:

— Ты за него в ответе. Не дай пропасть.

Фаддей кивнул. Он и так знал.

Отец закрыл глаза.

Хоронили его на старом кладбище у скал, откуда видно море. Степан плакал, утирая слёзы рукавом. Фаддей стоял молча, смотрел, как гроб опускают в мёрзлую землю, и думал о том, что теперь всё. Теперь он за всё ответчик.

Глава II

Годы после смерти отца текли ровно, как вода в заливе в безветренный день.

Фаддей вёл хозяйство, ставил сети, чинил лодку. Степан помогал, но без огонька. Делал что скажут и сразу уходил к своим книгам. Они мало говорили. Каждый жил своим. Фаддей — морем и работой, Степан книгами да мечтами.

Но иногда, по вечерам, Степан откладывал книгу и начинал разговор.

— Фаддей, ты никогда не думал уехать?

— Куда?

— Ну, в город. В Архангельск. Там лесопильни, работа есть. Люди живут не только рыбой.

Фаддей долго молчал, раскуривая трубку.

— А здесь чем плохо?

— Скучно, — вздохнул Степан. — Всё одно и то же. Море, сети, рыба. А там театры, книги, люди умные.

— Ты и так умный, — сказал Фаддей. — Книжек читался.

— Этого мало. Я хочу, чтобы меня кто-то слушал. Понимал. А ты только молчишь.

Фаддей промолчал и на это.

Степан помогал соседям. Часто уходил к Савелию, старому рыбаку, чинить сети, править лодку. Фаддей видел это и

молчал, но внутри закипало что-то похожее на ревность.

— Ты чего к Савелию всё ходишь? — спросил он однажды. — У нас своих дел полно.

— А что, нельзя? — Степан удивился. — Он один живёт, ему помочь надо. А ты и без меня справляешься.

— Справляюсь, — согласился Фаддей. — Но ты брат, не чужой человек. Мог бы и дома.

— Дом это ты? — вдруг резко спросил Степан. — Ты у меня дом? Ты со мной говоришь? Ты меня слышишь?

Фаддей опешил.

— Чего ты?

— Того! Ты всё молчишь! Я для тебя как пустое место. Работа есть, делай, дело есть, говори. А поговорить, так ты в стену смотришь!

— Я не умею говорить, — тихо сказал Фаддей. — Ты знаешь.

— А учиться? Я же учусь. Книжки читаю, думаю. А ты так и будешь молчать всю жизнь?

Фаддей не ответил. Он снова уставился в стену.

Степан махнул рукой и ушёл к Савелию. Вернулся затемно, лёг спать, не сказав ни слова.

В ту ночь Фаддей долго не спал. Лежал, глядел в потолок и думал: а ведь брат прав. Он не умеет говорить. Не умеет сказать, как ему страшно за Степана, когда тот уходит в море. Не умеет сказать, как радуется, когда брат возвращается. Не умеет сказать даже «люблю».

А надо бы.

Утром он хотел заговорить. Подошёл к Степану, открыл рот и не смог. Только спросил:

— Ухи будешь?

Степан посмотрел на него долгим, странным взглядом и кивнул.

— Буду.

И всё. Опять молчание.

Лиса передумала кур в тот год, когда Степан окончательно решил уезжать.

Фаддей вышел утром во двор, насчитал семь тушек, присыпанных снегом. Постоял, помолчал, потом зашёл в избу.

— Твоя работа, — сказал он. — Забыл засов починить.

— Моя? — Степан отложил книгу. — А ты вчера куда смотрел? Я с вечера сети ставил, ты дома сидел!

— Я дома? Я сеть чинил, пока ты носом в бумажки уткнулся.

— Бумажки? Это Пушкин, между прочим.

— Пушкин? — Фаддей усмехнулся. — А Пушкин твой кур вернуть сможет?

Степан побелел. Встал. Книга упала на пол, раскрылась корешком вверх.

— Ты всегда так! Думаешь, раз старший, всё тебе можно. Решать за меня. Судить. Я двадцать один год терплю, Фаддей. Двадцать один год я для тебя сопляк, который ничего не умеет. А я уеду. И ты останешься один. Понял? Один!

Фаддей смотрел на брата и вдруг увидел то, чего не замечал раньше. Степан уже не мальчик. У него жёсткая линия подбородка, отцовская. И глаза не материны. Холодные, чужие.

— Езжай, — сказал Фаддей. — Хоть сейчас.

— Сейчас? — Степан шагнул к двери. — А поеду.

— Куда ты пойдёшь? Заплутаешь впотьмах.

— Найду дорогу.

— Лёд тонкий.

— Не твоя забота.

Фаддей мог остановить его. Мог схватить за руку, прижать к стене, запереть дверь. Он был сильнее, тяжелее, старше. Но вместо этого он стоял и смотрел, как брат накидывает тулуп, нахлобучивает шапку, выходит в сени.

— Степка, — окликнул он. — Вернись.

Степан обернулся. В глазах злость, обида и что-то ещё, очень похожее на надежду.

— Скажи, что я нужен, — тихо сказал он. — Всего одно слово. Скажи, останусь.

Фаддей молчал.

Он хотел сказать. Правда хотел. Но слова застряли где-то в горле, в том самом месте, где много лет назад он проглотил обиду на отца, на мать, что умерла слишком рано, на весь белый свет.

— Делай как знаешь, — выговорил наконец Фаддей. И отвернулся к окну.

Дверь хлопнула.

Фаддей стоял, глядя на мутное, заиндевшее стекло. За окном мелькнула тень. Степан прошёл мимо, к заливу. Фаддей видел его силуэт, удаляющийся по снегу, и вдруг ему показалось, что брат уходит не просто в ночь. Уходит навсегда.

Он рванулся было к двери, но остановился.

— Сам придёт, — сказал он вслух. — Постоит на морозе, остынет и вернётся.

И сел обратно к столу.

Он сидел час, другой. Смотрел на огонь в печи, на тени, пляшущие по стенам. Вспоминал, как Степан маленьким засыпал у него на руках, как доверчиво прижимался, как звал: «Фадя, не уходи». И как он, Фаддей, отдавал ему последний кусок, последнее тепло, последний вздох.

Всё это время в груди у него рос камень. Пока ещё маленький, острый, только начинающий вращаться в мясо. Фаддей ещё не знал, что это такое. Но уже чувствовал: что-то важное уходит безвозвратно.

«Вернётся», — думал он снова и снова.

А потом услышал треск.

Далеко, со стороны залива. Тонкий, звенящий звук. Так трещит молодой лёд, когда не выдерживает тяжести.

Фаддей вскочил, прильнул к окну.

Луна стояла над заливом огромная, неестественно яркая. Лёд светился изнутри белым, молочным светом. И там, далеко, почти у самого горизонта, мелькнула тёмная фигура.

Она стояла неподвижно, а потом вдруг исчезла.

— Нет, — выдохнул Фаддей. — Нет!

Он выбежал из избы, бросился к берегу. Лёд под ногами хрустел, прогибался, но Фаддей бежал, не замечая. Бежал туда, где только что видел брата.

Добежал до полыньи. Чёрная вода, пар над ней, и никого.

— Стёпка! — закричал он. — Стёпка!

Тишина.

Фаддей упал на колени. Смотрел в чёрную воду и не мог поверить, что это случилось. Что он стоял в избе, думал «вернётся», а брат в это время тонул.

— Прости, — шептал он. — Прости меня, дурака. Прости, Стёпка.

Вода молчала.

На берегу он просидел до утра. А когда рассвело, пошёл в посёлок и сказал:

— Степан утонул. В полынье. Лёд тонкий.

Мужики переглянулись, но спрашивать не стали. Вышли на лёд, нашли полынью, баграми достали тело.

Фаддей стоял на берегу и смотрел, как брата кладут на сани, укрывают рогожей. Степан был лёгкий, почти невесомый. Голодная зима, худой парень. И лицо у него было спокойное, будто он просто уснул.

Только глаза открыты. Смотрят в небо.

Фаддей подошёл, закрыл брату глаза. Рука дрожала.

— Прости, — сказал он ещё раз.

Степан молчал.

Глава III

Хоронили Степана через три дня.

Могилу долбили весь день. Земля промёрзла на совесть, но утопленника, по обычаю, нельзя оставлять до весны. Степана отпевали в старой часовне. Собрался весь посёлок. Мужики стояли с непокрытыми головами, бабы утирали слёзы кончиками платков, кто-то из старух причитал тонко и жалобно.

Фаддей стоял у края могилы, смотрел, как гроб опускают в землю. Рядом шептались:

— Сам ушёл. Не удержал, значит.

— Брат всё-таки. Не доглядел.

Каждое слово входило в него, как заноза, оставалось под кожей, гнило.

Священник, старый отец Никодим, брызнул на гроб святой водой и сказал:

— Господь простит. А ты, Фаддей, простишь ли?

Фаддей не ответил.

Он стоял и смотрел, как комья мёрзлой земли стучат по крышке гроба. Стук этот он будет слышать потом девятнадцать лет.

Вернулся в опустевшую избу.

На столе всё ещё лежала книга Степана, раскрытая на той странице, где брат читал в последний раз. На гвозде висела

его шапка. В углу стояли сапоги, стоптанные, старые, но ещё хранящие форму его ног.

Фаддей сел на лавку, обхватил голову руками.

— Зачем я не остановил? — шептал он в темноту. — Зачем не сказал? Всего одно слово. Одно слово, дурак.

Темнота молчала.

Он просидел так до утра. А утром встал, затопил печь, сварил уху. Съел сам, впервые за трое суток. Потом вышел во двор, взял топор и пошёл в лес, за дровами.

Работать. Только работать. Чтобы не думать.

Первое время соседи заходили. Жалели, приносили еду, пытались утешить. Фаддей принимал молча, кивал, но в разговоры не вступал. А через неделю перестал открывать дверь.

В море было легче. Там не надо было думать, там надо было работать. Ставить сети, выбирать улов, грести против ветра, пока руки не начнут дрожать от усталости. Фаддей грёб так, будто хотел догнать кого-то, кто ушёл далеко-далеко и не собирался возвращаться.

Он ставил сети там же, где они ставили со Степаном. Каждый раз, забрасывая снасть, он слышал голос брата: «Не туда, Фаддей, тут камни, сеть порвёшь». Степан всегда лучше чувствовал море. А Фаддей чувствовал только тяжесть вёсел и холодную воду, обжигающую руки даже сквозь рукавицы.

Возвращался затемно. Сдавал улов, брал новую снасть и снова уходил. Люди на пристани перестали с ним разговари-

вать. Взгляд у Фаддея был такой, что всякое слово застревало в горле. Только качали головами вслед: «Тронулся мужик, тронулся».

По ночам он не спал.

Ляжет на лавку, закроет глаза и слышит свист. Тот самый, дурной, бесконечный, которым Степан дразнил его в детстве. Свист метался по избе, от стенки к стенке, и Фаддей вскакивал, хватал топор, выбегал на крыльцо. Никого. Только луна и снег.

— Стёпка, — шептал он в темноту. — Прости. Прости меня, дурака.

Темнота молчала. Но свист возвращался, стоило только лечь обратно.

Однажды, в метель, когда ветер выл так, что, казалось, стены сейчас развалятся, Фаддей решился. Вышел на крыльцо, поднял голову к небу и закричал:

— Стёпка! Я здесь! Если ты есть, приди! Приди и убей меня! Легче будет!

Ветер швырнул в лицо пригоршню снега и затих. На мгновение стало так тихо, что Фаддей услышал, как стучит его собственное сердце.

А потом из тишины донёсся свист. Тот же, Стёпкин, дурной, бесконечный. Но теперь в нём не было насмешки. Только тоска.

Фаддей рухнул на колени прямо в снег и заплакал. Впервые за девятнадцать лет.

Он перестал считать дни. Зима сменялась весной, весна коротким летом, но для Фаддея всё было единым белым безмолвием, в котором маячила одна фигура. Брат, стоящий на льду.

Иногда, возвращаясь с моря, он замечал, что сети поставлены не так, как он их оставил. Будто кто-то поправлял их, переставлял, делал работу за него. Фаддей злился, переставлял обратно, но наутро всё повторялось.

— Ты чего лезешь? — кричал он в пустоту. — Я сам! Сам справлюсь!

Пустота молчала.

Однажды он не выдержал и остался на берегу, спрятавшись за перевёрнутой лодкой. Ждал долго, продрог до костей, кутаясь в тулуп и считая минуты. Уже начало смеркаться, когда он услышал шаги. Хруст снега, осторожный, крадущийся. Фаддей вцепился в борт лодки, выглянул.

У сетей никого не было. Только снег, ветер и тишина. Но когда он подошёл к проруби, то увидел, что сети лежат ровно, аккуратно, будто их поправила заботливая рука. И на снегу ни единого следа.

Утром он проснулся от того, что кто-то стучал в дверь. Открыл. Никого. На пороге лежала краюха хлеба и горшок с ухой. Фаддей огляделся. Вдали, припадая на клюку, уходила старуха Акулина.

Он не окликнул. Просто забрал еду и закрыл дверь.

На следующий день история повторилась. Потом ещё раз.

И ещё.

Через неделю Фаддей сам постучал к Акулине.

Она жила на краю посёлка, в маленькой избушке, которая держалась, кажется, только на честном слове. Ветхие стены, покосившаяся труба, крыша, залатанная старыми досками. Но внутри было чисто. Пахло сушёной травой и ещё чем-то горьковатым, чего Фаддей не мог определить.

Увидев его, Акулина не удивилась. Только кивнула на лавку:

— Садись. Есть будешь?

— Не голоден, — ответил он. — Ты чего носишь?

Акулина вздохнула, опустилась на табурет.

— А ты чего не гонишь?

— Незачем гнать.

Она помолчала, потом сказала:

— Мои тоже на дне. В один год ушли, в один месяц. Сначала сыновья, потом муж. Сердце не выдержало, пошёл за ними следом, да не доплыл.

Фаддей смотрел на неё и видел в её глазах ту же пустоту, что носил в себе.

— Я с ними говорю, — продолжала Акулина. — Каждую ночь. Им легче. И мне легче. А ты молчишь. Нельзя молчать.

— Я говорил, — хрипло ответил Фаддей. — Он не пришёл.

— Придёт. Ты главное не замолкай.

Она встала, достала с полки горшок с кашей, поставила

перед ним.

— Ешь. И слушай. Может, сегодня услышишь.

Фаддей ел молча. А когда вышел на улицу, уже стемнело. Луна висела над заливом, огромная, бледная, ещё не стоячая, но уже тяжёлая.

И в тишине ему почудилось дыхание. Чьё-то, рядом.

— Стёпка? — прошептал он.

Никто не ответил. Но свист не вернулся.

В ту ночь Фаддей спал впервые за много месяцев. Без снов, без свиста, без шагов. Просто провалился в темноту и проспал до утра. А когда проснулся, в избе было тихо. Печь давно прогорела, но холода он не чувствовал.

Он встал, подошёл к окну, взглянул на залив. Луна уже сползала с зенита, но всё ещё висела над скалами, большая, белая, внимательная.

— Скоро, — сказал Фаддей вслух. — Скоро придёшь.

Он не знал, откуда это знание. Просто знал. Как знал когда-то, что Степан не вернётся с полыньи.

С того дня он начал ждать. Каждую ночь садился у окна, смотрел на луну и ждал. Он не боялся. Он уже ничего не боялся. Он просто ждал, когда придёт брат и скажет ему то, что должен сказать.

А луна с каждым днём становилась всё тяжелее, всё неподвижнее. Всё ближе подходило время.

Глава IV

В начале ноября в посёлок приехал профессор Меркулов.

Пароход из Архангельска причалил к старой пристани под вечер. На берег сошёл сухой, поджарый человек в очках, с тёмной бородкой и странным прибором, похожим на большой медный циркуль. Он нёс тяжёлый чемодан и озирался по сторонам с любопытством, которое местные сразу окрестили городским.

— Где тут можно остановиться? — спросил он у мужиков, смоливших лодку у причала.

Те переглянулись. Чужой, сразу видно. И говорит чудно. Не по-нашему, но по-русски, только слова выбирает мудрёные.

— К Петру Игнатьевичу ступайте, — сказал старший. — На маяк. Он у нас за старшого, всё про всех знает.

Профессор кивнул и зашагал вверх по тропе.

Пётр Игнатьевич Бесфамильных, смотритель маяка, встретил гостя настороженно, но вежливо. Выслушал, кивнул, пригласил в дом.

— Стало быть, учёный, — сказал он, разливая чай. — Из самого Петербурга? Чего ищете на нашем берегу?

Профессор объяснил: изучает полярные аномалии, световые явления, психологию людей в условиях долгой зимы. Особенно интересуется феномен стоячей луны, о котором пи-

сали в старых отчётах.

Пётр Игнатьевич усмехнулся.

— Про луну нашу наслышаны? Что ж, дело хорошее. Только учтите: то, что вы увидите, наукой не объяснишь.

— Наука объясняет всё, — твёрдо сказал профессор. — Просто не всё ещё объяснено.

Смотритель покачал головой, но спорить не стал.

— Ещё просьба к вам есть, Пётр Игнатьевич. — Профессор не спеша набил трубку. — На ледник мне нужно, пробы взять, замеры сделать. Не посоветуете проводника хорошего? Только чтоб к зелью не очень пристрастен был. Я и сам не святой, и стакан сам поднесу, с холода или там с устатка. И заплачу, не обижу.

— Есть такой. Фаддей Прокошин. Мужик крепкий, трезвый. В самый раз будет, и окрестности с закрытыми глазами пройдёт. Да и ему сейчас полезно с людьми побыть.

— А что с ним? — спросил профессор.

Пётр Игнатьевич помолчал, раскуривая трубку.

— Брата утопшего носит в себе. Девятнадцать лет уже. Тяжело ему. Может, ваше общество его расшевелит.

Так Фаддей стал проводником профессора Меркулова.

Они встретились на следующий день у избы Фаддея. Профессор подошёл, постучал. Дверь открыл высокий, сутулый мужик с седыми висками и глубоко запавшими глазами. Глаза эти глянули на профессора равнодушно, скользнули по его снаряжению и остановились на лице.

— Проводник нужен? — спросил Фаддей. Голос был глухой, будто из бочки.

— Да. Профессор Меркулов, из Петербурга.

— Фаддей. — Он не протянул руки, только кивнул. — Когда идти?

— Завтра на рассвете, если можно. К западному леднику.

— Можно. Приходите.

И закрыл дверь.

Профессор постоял немного, потом пожал плечами и пошёл обратно на маяк.

«Станный человек, — записал он вечером в дневнике. — Молчалив, замкнут, взгляд потухший. Точно что-то носит в себе. Интересно, что?»

Они ходили в горы три дня.

Фаддей водил профессора по западному склону, указывал тропы, называл имена скал и бухт. Говорил только по делу, на вопросы отвечал односложно. Профессор записывал, щупал камни, брал пробы, бормотал что-то про себя.

На второй день, заночевав в охотничьей избушке, они сидели у костра. Профессор решил попытаться разговорить проводника.

— Вы здесь всю жизнь живёте, Фаддей?

— Всю.

— И никогда не хотели уехать? В город, например?

Фаддей долго молчал, глядя в огонь.

— Брат хотел, — сказал наконец. — Уехать хотел. В Ар-

хангельск.

— А вы?

— Я не хотел. Здесь остался.

Профессор ждал продолжения. Но Фаддей замолчал и больше не проронил ни слова до самого утра.

Профессор Меркулов вёл дневник каждый вечер. Записывал наблюдения, координаты, образцы пород, но между строк проступало другое, то, что он не решался доверить бумаге.

«Сегодня опять думал о Фаддее. Что он носит в себе? Десять лет вины, это слишком много для одного человека. Наука учит нас, что время лечит, но здесь, на Севере, время течёт иначе. Оно не лечит, оно консервирует. Как соль».

Он вспоминал свою мать, её рассказы о деде-священнике, который верил в чудеса. В Петербурге эти рассказы казались ему наивными суевериями, пережитками тёмного прошлого. Но здесь, в этой ледяной пустыне, где луна висела над скалами как живое существо, всё виделось иначе.

Однажды вечером, вернувшись с очередного похода, Меркулов зашёл на маяк к Петру Игнатьевичу. Старик сидел за столом, перебирал старые бумаги.

— Чай будешь? — спросил он, не оборачиваясь.

— Буду, — ответил профессор.

Они пили чай молча. Потом Пётр Игнатьевич сказал:

— Ты всё пытаешься объяснить, учёный человек. А оно не объясняется.

— Всё объясняется, — возразил Меркулов. — Просто не всё ещё объяснено.

— Ну-ну, — усмехнулся старик. — А ты вот что скажи: откуда, по-твоему, эхо берётся? Ну, обычное, которое в горах?

— Звук отражается от препятствий. Физика.

— А если нет препятствий? Если звук уходит в пустоту, а возвращается? Что тогда?

Меркулов задумался.

— Не знаю, — признался он. — Может быть, атмосферные аномалии.

— Аномалии, — повторил Пётр Игнатьевич. — А у нас тут, барин, не звук возвращается. У нас чувства. Вина, любовь, страх. Ты это объяснишь своей физикой?

Профессор молчал.

— То-то, — сказал старик и подлил чаю.

В ту ночь Меркулов долго не мог уснуть. Лежал в своей каморке, слушал, как за стеной ворочается Фаддей, и думал о словах зрителя.

«Чувства, — повторял он про себя. — Эмоции. Материализованные эмоции. Если это правда, то вся наука летит к чёрту».

Он вспомнил лекции в университете, своих коллег, которые с пеной у рта доказывали, что всё в мире подчинено строгим законам. А если есть то, что эти законы нарушает? Если есть то, чего нельзя измерить приборами?

Он зажёл свечу, достал дневник и записал:

«Сегодня понял: я боюсь не того, что увижу эхо. Я боюсь, что не смогу его объяснить. И тогда вся моя жизнь к чёрту».

Отдыхая после очередного выхода, профессор проснулся от странного чувства. Ему показалось, что в избе кто-то есть. Он встал с кровати, вышел в горницу.

Фаддей сидел у окна и смотрел на луну. Лицо его в холодном свете казалось вырезанным из камня.

— Не спится? — спросил профессор.

Фаддей не ответил. Только спросил, не оборачиваясь:

— Ты веришь, барин, что мёртвые могут возвращаться?

Меркулов помолчал, подбирая слова.

— Как учёный — нет. А как человеку иногда мне кажется, что я слышу голос матери. Но это память, Фаддей. Игра уставшего мозга.

— А если не игра? — Фаддей повернулся к нему. В глазах его было что-то такое, от чего профессору стало не по себе.

— Если они приходят по-настоящему? Не во сне, а вот так, за окно?

— Тогда, — Меркулов надел очки, будто они могли защитить его от этого разговора, — тогда нам придётся переписывать все законы физики.

«Переписывать законы, — думал Меркулов, глядя на застывшее лицо проводника. — А если законы писаны не нами? Если есть то, что мы никогда не сможем объяснить, а можем только засвидетельствовать? Что тогда?»

Он тряхнул головой, отгоняя мысли. Наука. Только факты.

— Законы, — усмехнулся Фаддей. — У нас тут свои законы, барин. Луна открывает ухо, и всё тайное становится явным, наружу лезет.

Профессор хотел возразить, но не успел.

В окно тихо, но отчётливо постучали.

Фаддей вздрогнул. Меркулов вскочил, схватил лампу, поднёс к стеклу.

За окном никого не было. Только лёд, снег и лунная дорожка, уходящая в темноту.

— Показалось, — сказал профессор.

— Нет, — ответил Фаддей. — Он пришёл.

Глава V

В ночь на 28 ноября Фаддей закричал во сне.

Меркулов спал чутко. Сказывалась привычка, выработанная в долгих экспедициях, когда каждую минуту ждёшь обвала или нападения зверя. Он вскочил, нашарил очки, керосиновую лампу. Свет выхватил из темноты бревенчатые стены, печь, стол и Фаддея, стоящего посреди комнаты босиком, в длинной холщовой рубаше.

Проводник смотрел в окно. Лицо его было белее снега за стеклом. Губы шевелились беззвучно.

— Фаддей, — Меркулов шагнул к нему, поднял лампу выше. — Что случилось?

Фаддей не обернулся. Он смотрел на окно, на заледенелое, покрытое причудливыми узорами стекло, и профессор проследил его взгляд.

С наружной стороны, на матовой поверхности, отчётливо проступил след.

Отпечаток человеческой ладони. Пятерня, растопыренные пальцы, чуть согнутые, будто тот, кто стоял за окном, прижимал ладонь к стеклу изо всех сил.

А за окном, за этим тонким, хрупким барьером, в густом, почти осязаемом лунном свете стояла фигура.

Фигура была мокрая. С неё стекала вода, замерзая на лету, и каждая капля, падая на подоконник, звенела тонко и жа-

лобно, будто маленький колокольчик. Лохмотья висели клочьями, холщовая рубаша прилипла к телу. Лицо было мокрым, распухшим, с белыми, незрячими глазами. Но это было лицо Фаддея. Точная копия, только вывернутая наизнанку, выпившая всю его боль за девятнадцать лет.

Фаддей смотрел на него и не мог отвести взгляд. В голове билась одна мысль: «Это я. Это я, если бы утонул тогда. Это я, каким меня видит Стёпка».

— Боже мой, — прошептал профессор.

Фигура снова ударила в стекло. Сильнее. И ещё. И ещё.

С каждым ударом Фаддей вздрагивал, будто его били наотмашь. Из угла его рта потекла тонкая струйка крови. Он прокусил губу, стараясь не закричать. Каждый удар отдавался в груди тяжёлым толчком. Камень, что рос в нём девятнадцать лет, пульсировал в такт, готовый разорвать его изнутри.

— Не подходи! — крикнул Меркулов. — Это галлюцинация! Массовая истерия!

Он схватил ружьё, висевшее на стене. Заряжено оно было ещё с осени, на всякий случай, от волков. Профессор вскинул его, прицелился в стекло. Палец лег на спуск.

И тут он остановился.

Он, Владимир Сергеевич Меркулов, приват-доцент кафедры физической географии, автор двух монографий, член Географического общества, стоял посреди чужой избы на краю света, держал ружьё и собирался стрелять в то, чего не

существует. Или существует. Он не знал. И это было хуже всего.

Он опустил ствол.

— Фаддей, — сказал он хрипло. — Скажите мне. Это ведь... вы что-то видите. Что именно?

— Брата, — ответил Фаддей, не отрывая глаз от окна. — Это брат мой. Степан.

— Но его нет.

— Есть.

Фигура за стеклом перестала стучать. Она стояла и смотрела. Просто смотрела, и в этом взгляде была вся та тоска, которую Фаддей носил в себе девятнадцать лет. Ничего больше. Никакой злобы, никакой мести. Только тоска. И ожидание.

Фаддей шагнул к окну.

— Не надо! — Меркулов рванулся к нему, схватил за руку. — Не подходите. Мы не знаем, что это.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.